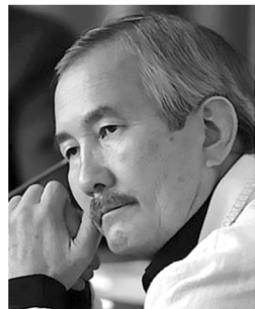


Смагил Элцубай



ОДИНОКАЯ ЮРТА

Роман

У КОЛОДЦА

1

Умолкала безлюдная пустыня. Густели вечерние сумерки, сливаясь в половодье тьмы. Там и сям чернели еще редкие кустарники, но пустынные просторы все плотнее укутывались покрывалом ночи, погружаясь в тихий сон...

Но вот вечерняя дремота, уже предвещавшая безмолвие ночи, нарушена звонком колокольчиков. Сначала их серебристый голос донесся откуда-то издалека, из темноты, затем затих, потом возник вновь, явно приближаясь...

Из гущи сумерек наконец появились черные громадные тени. Это был караван – след в след, один за другим, шли тяжело ступающие атаны и нары¹. Люди, сопровождающие верблюдов, были молчаливы, а медные колокольчики на шеях животных, мерно раскачиваясь в такт верблюжьему ходу, позванивали, издавая простенькую, как незатейливый степной кюй, мелодию. Она не нарушала покоя, растворенного в сумеречном воздухе, в ней ощущалось неизъяснимое созвучие ему...

Караван сошел с тропы, свернув на плоский пятачок среди барханов. Верблюдов опустили на колени – одного за другим, сняли с них мешки и хоржуны². Вконец утомленные и обессиленные путники – их было семеро – завалились спать как были, в одежде, подложив хорджуны под головы. Разбитые долгой дорогой, многие тут же захрапели.

Азберген лежал, не смыкая глаз. Он был младшим братом Пахраддина, того, что лег неподалеку, с головой закутавшись в чапан. Пахраддин был сыном байбише, первой жены отца, а он, Азберген, – родился от токал, второй, младшей жены. Азберген не мог заснуть, его не на шутку взволновали разговоры, услышанные вчера на ярмарке, – заходит, мол, солнышко для баев... Сон не приходил... Азберген поднял голову и понял, что Пахраддина нет рядом. Брат стоял неподалеку, в сторонке, под звездным небом, спиной к нему, на плечах – чапан. Лишь силуэт смутно чернел на фоне бархана.

¹ Атан – холощенный верблюд. Нар – одnogорбый крупный верблюд.

² Хорджун – переметная сума из ткани, или кожи.



Азберген со вчерашнего дня искал повода для разговора с братом наедине, и наконец-то случай представился. Встав, подошел к брату. Цыркнув, сплюнул. Пахраддин, косо глянув на него, чуть отступил. Однако не произнес ни слова в ожидании. Азберген, назло ему, тоже некоторое время хранил угрюмое молчание. Насупив брови, тоже глядел в ночную степь. Знал: раскрой он рот – злость, что душит его, хлынет наружу.

Не выдержав, глухо рыкнул:

– Это ты... ты виноват! Давно нам нужно было откочевать! Уходить надо было! А теперь вот...

Не мастак на слова Азберген, он больше человек действия. Тотчас смешался, поперхнувшись на полуслове. Замолчал. Пахраддин не произнес ни слова. Потоптался на месте и все так же молча с мрачным видом направился к темнеющим на стоянке тюкам. Лег, с головой накрылся чапаном.

Луна обагрила восточный край неба. Хвостатая звезда стремительно прочертила западный свод. В полыни неумолчно трещали сверчки.

Навзничь растянулся на песке Азберген, предался думам, таким же бездонным, как ночное небо над ним. От вислогубого атана с подветренной стороны тянуло терпким запахом пота, связанные друг с другом дромадеры смачно перемалывали жвачку. Пахраддин лежал все так же, накрывшись с головой. Не понимает он брата, нет. Бий¹ как-никак, все, считай, в рот ему смотрят... Правда, у брата нет тысячных стад и отар, как у Мажана – тоже вон спит – но ведь не без скота же! И у него состояние достаточное. А упомянет кто Советскую власть – замирает с покорным видом. Может, думает, что Советская власть облагодетельствует его? Чтоб ему, Азбергену, со свету сгинуть, если он что-либо понимает!.. А как смириться с тем, что старший брат заискивает, гнется перед аульным сапожником Шарипом, заполучившим в прошлом году печать старшины?

И на Шеге отыграется, на щенке Шарипа, который тоже зубы начал показывать... Ох и нарезал бы плетей из кожи на его спине! Вскипел Азберген, как только подумал про него. Как не вскипишь тут? Не понимает подонок, кто он и что, еще нагло и на Хансулу рассчитывает! Распоясалось аульное гнилье!

Хансулу – племянница Азбергена. Единственная дочь Пахраддина. Стройна и гибка она, как тростинка. И красавица, и баловница. Скорее Азберген умрет, чем позволит прикоснуться к ней этому выродку Шеге!

...И снова караван размашисто ступающих дромадеров пустился в путь, позванивая колокольчиками. Где-то впереди аул, люди – родичи, жены, дети, которых караванщики не видели почти месяц...

2

Вот и осеннее стойбище аула. Скудна и неприглядна здесь земля. Пыльная трава пожухла. Удручающей желтой плешью выглядит пустырь у колодца, где нет ни единой травинки, даже вытопанной.

На неказистой неоседланной гнедой лошадке трусит к колодцу Шеге. Шум и гам вокруг: блеют овцы, лают собаки, стонут верблюжата – обычная картина из жизни аула. Это хлопотливая вечерняя пора, когда во дворах и на окраине

¹ Бий – третейский судья.

полным-полно людей и скота. Но Шеге шума и гама не слышит, он думает о своем. И чем больше думает, тем тяжелее на душе. Станный он. Запало же ему на душу, не оценивая своих возможностей, думать о Хансулу. Днем и ночью она ему грезится. Но разве на всех охочих парней Хансулу хватит? Девушек в ауле много. Почему бы Шеге на какую-нибудь другую не поглядеть? Почему Хансулу? Зачем тянуться к луне на небе, до которой все равно не дотянуться? Не знает он.

– Тащи!

– Назад! Наз-за-а-ад!

Голоса людей, крутящих ворот над колодцем, отвлекли от дум. Шеге поднял голову. Солнце уже зависло над горизонтом.

Приблизившись к колодцу, Шеге заметил в толпе своего приятеля Ждахая, поившего верблюда, и усмехнулся. Со Ждахаем они сверстники, только с ним он может поделиться самым сокровенным. У обоих и печаль-то одна. Как и Шеге, Ждахай тоже влюблен. В молоденькую токал бая Мажана Балкию. Стоит друзьям сойтись, затевается у них одна песня – о Балкие да о Хансулу.

Ждахай, завидев Шеге, расплылся в белозубой улыбке. Паренек коренаст с виду, плотен, с оспинками на лице.

– Тащи-и! – заорал опять Бульш, крепкий, рослый смуглый детина, захвативший бадью.

Огромный черный нар, впряженный в шыгыр¹, разинув пасть, попятился было назад, но тут же всей своей массой снова подался вперед, таща сыромятый аркан, привязанный к седелке на его спине. Мальчонка, державший недоуздок, бросился наперерез.

Ждахай толкнул Шеге в бок:

– Эй, горемыка, гляди-ка! Да не туда, назад гляди!

Шеге обернулся – там, куда указывал Ждахай, огибая колодец, грациозно рысила на своем Каракере Хансулу. Она была в круглой бобровой шапочке, пух филина на макушке трепетал на ветерке, красный шелковый камзол в тонкой талии охвачен изящной застежкой; серебряное седло под лучами заходящего солнца сверкало всеми цветами радуги; трехлетка Каракер, будто чувствуя, какая ладная красавица у него хозяйка, так и пританцовывал, легко выбрасывая тонкие ноги. Шеге живо представил себе черные смородиновые глаза девушки, длинные, загибающиеся кверху ресницы, чуть вздернутую пухлую верхнюю губку. Грустно вздохнул.

– Не горюй! – тряхнул его за плечо Ждахай. – Пусть задирает себе нос! Но попомни мои слова – твоя будет она, сокол, ей-богу!

– Ждеке-е... Погляди-ка ты теперь... вот сюда!

Как только Ждахай увидел идущую по тропе Балкию – пыль из-под ее ног серебрилась в закатных лучах, – преобразился, бедняга, на глазах. И без того щетинящиеся на голове жесткие волосы вздыбились, кажется, еще больше. Засуетился, не знает, куда руки девать. А Шеге давай хохотать! Ждахай раскраснелся, на кончике носа выступила испарина.

¹ Шыгыр – простейшее сооружение для подъема воды на возвышение, ворот.

– Чудак, – сказал он. – Ты никому не болтай, но я тебе сегодня тако-ое покажу... – и перешел на шепот, чтобы, наверное, придать своим словам значительность, а заодно и отвлечь от себя внимание приятеля.

– А что там у тебя... тако-ое?

Ждахай приложил палец к губам, молчи, мол, и глазами повел в сторону Булыша, который опять захватил бадью. Шеге осенило, – значит, секрет Ждахая связан с Булышом.

3

Отужинав, люди в ауле легли спать. Было темно, хоть глаз выколи. Месяц еще не народился. Шеге, заинтригованный словами Ждахая, затаился с ним на пыльном верблюжьем пяточке в ауле Мажана. Возвышаясь в темноте валунами, кругом лежали верблюды. Приятели обосновались с подветренной стороны большого старого стога, внимательно наблюдая за отау¹ Балкии. Вон оно грудой темнеет впереди.

Балкия долго крутилась по хозяйству – то появлялась, то исчезала, – это они по звону шолп² угадывали. Наконец, свет погас.

Ждахай толкнул Шеге в бок:

– Видал? Легла. Потому как одна. Теперь во все глаза гляди, тако-ое увидишь...

Прошло некоторое время. Ни души возле отау, ни звука. Покойная тишь в ауле. Даже собаки брехастые приумолкли. Только из загона возня доносится – возбуждены бараны после пастбища, с треском и гулом бодаются по привычке. Кричит за аулом козодой, будто причитает. Не накликать бы беды. Скверная птица.

Хорошо, если друзьям повезет. Но Булыш-охотник, который должен бы, по словам Ждахая, навестить дом молодой токал, не появлялся.

– Не задержится, придет. До луны еще явится, – шепотом пообещал Ждахай, вытянув шею, заглядывая меж горбов ближнего верблюда. Дромадеры все так же громоздились вокруг грузными тушами, звучно перетирая свою жвачку. От терпкого запаха их слюны щекотало в ноздрях.

– Рассказал бы пока, что видел. Что без толку сидеть-то? – попросил Шеге.

Ждахай повернулся, готовясь поделиться своим секретом:

– Хотел, чтобы сам ты... собственными глазами... а видишь, дурачит нас охотник, не идет. – Он досадливо повел плечами. – Старик-то ее... – Он кивнул в сторону юрты. – ...как уйдет в город с караваном, так я сразу напрямик к ней. Каждый вечер у ее дверей.

– Что ты говоришь?

– Муж – рухлядь старая. А она молоденькая, кровь с молоком! Когда, думаю, ей гулять, как не сейчас?

Как солнце заходит – я, крадучись, напрямик сюда.

Но такое вот дело, дойду до двери и – будто бог разума лишает, стою столбом. Коснуться двери – все равно что конец света для меня. Руки дрожат, не дышу, в ушах шумит, сердце стучит. Вот и вчера перед дверью ее истуканом торчу и вдруг – слышу, кто-то в потемках идет! Булыш! Испугался я, за дом забежал. Не дышу, зубы сцепил. В себя пришел – услышал голоса. Тихие такие голоса.

¹ Юрта для молодоженов.

² Шолпы – серебряные подвески.

– Сюда иди, сюда... – Балкии это голос. – Кумган¹ там на полу, не споткнись.

А он:

– Ты одна?

– Чего же это я, – говорит она. – Если не одна я, с хрычком, что ли, своим тебя буду дожидаться?

– Постой, я к тому, нет ли рядом ребенка?

– Не бойся, – Балкия говорит. – Нашел чего бояться...

А потом, слышу, кровать закрипела. Я – к самой стене ухом! Она его шепотом спрашивает, соскучился ли, а голос-то у чертовки сладенький, как мед.

А потом плохо стало слышно, совсем тихо зашептались. Я так и этак к стене – ничего! Что-то, видать, они почуяли, Балкия как закричит:

– Пшла, пшла прочь, скотина!..

Ну, я со всех ног кинулся вон...

– Луна уже выходит, – помолчав, прошептал Ждахай. – Теперь Булыш сдохнет – не придет!

– Что ж, пропади все пропадом, давай по домам, – с сожалением бросил Шеге.

– Зачем по домам? Два таких джигита... Чудак, а там женщина... молоденькая... сочная... одна... – и голос Ждахая сорвался на сип.

– Ну, так иди. Может, ждет она... тебя... – фыркнул Шеге.

– А что? Что? Пойду! – Ждахай как бы подзадоривал сам себя.

– Иди! Иди же!

– Ну, если что – дашь знать! – с этими словами Ждахай забежал за тушу верблюда и, пригнувшись, припустил трусцой вперед. Оглянулся на ходу. Шеге украдкой махнул ему рукой. Осторожен Ждахай, со стороны кажется, будто мух ловит. Добежал он. Перед самой дверью встал и замер.

Шеге разволновался, сердце рвалось из груди, будто вместо Ждахая сам за- таился перед дверью.

Ждахай, похоже, подал голос. Его не заставили ждать – дверь открылась. Силуэт исчез в черном проеме.

– Чудеса! – произнес Шеге. Сам не понял, как ринулся с места. Придя в себя, понял, что со всех ног несется к закрытой двери. Одно было на уме – оказаться у дома, стать свидетелем подвига Ждахая. Но, когда почти достиг цели, послышался звук, будто палкой ударили по выделанной козлиной шкуре, а следом – грохот железа. Ждахай вдруг выметнулся из юрты. Сломя голову помчался куда глаза глядят.

И Шеге тоже – ноги в руки! Что раздумывать? В лунном свете бегут оба к оврагу. Топот такой подняли, что верблюды, напугавшись, повскакивали с мест. И собаки зашлись в истеричном лае.

Поравнявшись со Ждахаем, Шеге спросил, переводя дыхание:

– Что случилось-то?

– Прибила, парень, беги!

Еще сильнее припустил Ждахай, аж голова назад запрокинулась. Так и добежали до оврага, на дно скатились. Аульная свора дружно припустила за ними. Тем и спаслись, бедолаги, что оказались на дне оврага.

– Что было-то? – не унимался Шеге.

– Что было, то было... Приложила хорошо, вот что было, – Ждахай закатился нервным смешком, руку Шеге прижал к своему виску – вспух висок.

¹ Кумган – кувшин для омовения.

– С наградой! Поздравляю! Ну... рассказывай...

– Открыла она дверь. Я – туда, – начал Ждахай, вздохнув полной грудью. – в одной ночной рубашке Балкия, аромат от нее... Чего тебе, говорит, а голос... ну, совсем не такой, как тогда, когда она с Бульшем шепталась. Совсем другой голос. Растерялся я, брякнул: «Поиграем, женеше¹» ... и – на коленки, ножки ее обнимаю: разжалобится, думаю. А она: «Чертыга, вот тебе – поиграем!» – и, представляешь, чем-то тяжелым меня... прямо по макушке! Скалка, оказалось Искры из глаз. Я – к двери. Таз, что ли, у порога зацепил, не знаю, в общем, на что-то наступил. Грохот... А она напоследок этой скалкой – промеж лопаток! «Вот тебе игра!» – говорит. Я через порог да еще лбом о притолоку... Вот так получил я...

Шеге лежал на земле, раскинув руки, плечи его дрожали от судорожного смеха.

4

Наутро Шеге проснулся от звуков ссоры. Как всегда, отец с матерью повздорили за утренним чаем. Не желая их слушать, Шеге с головой завернулся в теплое одеяло. Перебранка не прекращалась. Напротив, набирала силу.

– Гульжа-ан! – вскричал вдруг отец. – Сходи-ка к Пахраддину, кусок сахара от них принеси. Скажи, вернутся люди с базара – непременно отдадим.

Гульжан – младшая из пяти сестренек Шеге.

– Не пойдет! – решительно заявила мать. – Девчонка, эй, не смей идти! Сапоги не шьешь, как аулнаем² стал, стыдно, видите ли, ему. Вот и мне, жене аульная, попрошайничать стыдно! Не пойдет она.

– Ай, твердолобая, не тебя ведь, ребенка посылаю, – в голосе отца стали прорываться знакомые визгливые нотки.

– Не пойдет! – упорствовала мать. – Глотку каждый день дерешь: власть – бедняцкая, власть – бедняцкая, а сам – чуть свет – к бау бежишь. Скажи, какой прок в том, что ты – власть?!

Мать у Шеге – ширококостная смуглая женщина с ровным, спокойным характером. Глуховатым твердым голосом возражает она, и доводы ее кажутся убедительными.

Шеге задыхается от сдавленного смеха. Перед его взором ясно предстает лицо отца, надутое, красное от злости и беспомощности, его вытаращенные глаза, нелепо торчащий на самой макушке хохолок. Оно и понятно – не может найти нужных слов, чтоб ответить.

– Безмозгля! Что ты мелешь? Просим потому, что бедные. Кто бы нас поддержал, если бы не бедные были?

– Поддержал... это ты про печать, что ли? Носишься с ней, как с дитем недоношенным! Какая нам польза от печати той? Ты тешишься тем, что стал властью в ауле. Ремесло свое забросил. Детей вон куча, голодные, на одной воде сидим, рады-радешеньки, что у тебя печать! Вот и грызи эту печать вместо сахара!

Шеге вновь фыркнул под одеялом.

– Прекрати, семя бесстыжего рода! Не смей печать трогать! – взвизгнул отец. Девочки в голос расплакались. Шеге соскочил с постели. Как и предполагал он, отец с печатью в руке зло наступал на мать. Шеге встал между ними...

¹ Женеше – жена старшего родича.

² Ауылнай – аульный старшина.

Не притронувшись к чаю, Шеге вышел на улицу. Дул холодный, пронизывающий ветер. Обычное промозглое осеннее утро. Небо на востоке обложено темно-серыми тучами. Из-за них и солнца не видать, хотя оно давно уже поднялось. Женщины, поеживаясь на ветру, гонят на пастбище верблюдов. Кто-то, брэнча ведром, набирает воду в колодце. За колодцем по склону увала рысит одинокий всадник с белой гончей: Булыш на охоту отправился. Вспомнив про вчерашний рассказ Ждахая, Шеге от души рассмеялся.

Булыш – известный в округе охотник. Джигит из джигитов. Тридцать лет ему уже. Кого же любить Балкие, как не его?! К тому же и холост Булыш, жена два года назад умерла. Дом его сиротливо ютился на самом дальнем краю аула. Булыш проживал там со старой матерью.

Вороной конь и белая гончая Булыша, перевалив через косогор на южную сторону, исчезли из виду. Охотник держал путь в пески Сарыбая.

Э-эх, почему Шеге не такой джигит, как Булыш? Посмотрел бы он тогда, как Хансулу кичиться стала. Запахнув поплотнее на груди тесную уже шерстяную безрукавку, Шеге грустно вздохнул. Вот эта убогая юрта – его, Шеге, обиталище. А в центре аула, поражая людей своим великолепием, стоит другая юрта, большая, белая как снег. Юрта Хансулу. Неподалеку на привязи жеребец-трехлетка Каракер. Скаун чистых кровей. Другой такой лошади в округе нет. Знаменитый туркменский ахалтекинец, которого Пахраддин из Бескалы¹ пригнал специально для дочери.

– Едут! Едут! – раздалось со стороны пастбища. Оказывается, это Козбагар надрывается. Полноватый Козбагар, косолапо топя, радостно размахивая руками, со всех ног несся обратно к аулу. «Кто едет?» – подумал было Шеге и тут увидел караван, огибавший северный склон сопки Караул. Издалека казалось – степь пересекает длинный журавлиный клин. То был караван «горожан», месяц назад отбивших на ярмарку в Темир.

– Хансулу! Хансулу! Эй! Отец твой с базара едет! Оте-ец!

Переполошенный Козбагар кричал так, будто его собственный отец возвращался с ярмарки. Козбагар пасет скот у Пахраддина. Бог ты мой, пастух ведь, а тоже, говорят, на Хансулу виды имеет...

Козбагара услышал весь аул, дружно высыпал из юрт. Ребятишки подняли визг, бросились навстречу каравану. Хансулу тоже вышла из дому. Наряд ее подчеркивал тонкую, изящную фигурку: серые шаровары, красный плюшевый камзол, элегантно облегающий стан, сапожки на высоких каблукках, на голове – меховая шапочка с перьями филина на макушке, в руке – камча. На возбужденно-радостного Козбагара она даже не взглянула, пошла к коню.

Хансулу легко вспрыгнула на застоявшегося, нервно перебиравшего ногами жеребца, и помчалась вслед за мальчишками к увалу Караул. Чуть пригнулась к гриве. Ноги Каракера словно не касаются земли – летит конь. Прохладный ветер с гулом бьет в точеное девичье лицо, вышибая слезы из прекрасных раскосых глаз. Крылья небольшого носа запали, губы сжаты, она без оглядки стремится вперед.

Очень скоро скаун Хансулу оставил позади визжащих ребятишек и пересек путь усталому каравану, растянувшемуся по желтому косогору. Взгляд Хансулу метался по толпе, выискивая среди усталых бородатых путников в пыльной одежде, часто с красными воспаленными глазами, лицо отца Пахраддина, но не

¹ Бескала – старинное название Каракалпакии.

встречал его. Впереди каравана шел ее дядя Азберген. Богатырского сложения, он еще больше огрубел, мясистое лицо расплылось, стало круглым, на щеках топорщилась многодневная серая щетина.

– А, Хансулу! Здоровы ли вы? – обронил он, насупив брови.

– Здоровы. А где коке? – спросила Хансулу.

Глаза Азбергена с красными прожилками на белках глядели на девушку как-то неприязненно, лицо его было – словно темная туча, заряженная грозой.

– К Лабак-ахуну завернул только что.

Караван проследовал мимо. Хансулу повернула нетерпеливо приплясывающего коня к солнцу. Каракер, словно стрела, выпущенная из лука, полетел по полынной равнине. Наметом поднявшись на пологий увал, она увидела впереди двух путников, одного – на верблюде, второго – на коне. В человеке на вороном жеребце с белым пятном на лбу она признала своего отца. Тот, что рядом, на белом верблюде, в белом чапане, в белой чалме, – Лабак-ахун. Ишан обучал грамоте всех детей этой округи. В Жылыбулаке он содержал мечеть. Хансулу у него научилась читать и писать. Ахун был ученым человеком, жырау¹, прочитавшим множество книг и ведающим обо всем на свете.

Пахраддин – видный мужчина с красивыми глазами, с ранней проседью в волосах, со впалыми скулами, крупный, широкоплечий, – склонившись с коня, любовно обнял и расцеловал дочь, которая спешила и, соблюдая приличия, степенно, с учтивостью подошла к отцу.

До Хансулу у Пахраддина были сыновья – Али и Кали. Оба умерли от оспы. Единственную дочку Хансулу, родившуюся после них, он любил не меньше сыновей.

– Как вы здесь, Сулутай, живы-здоровы? – спросил он, волнуясь, и голос его дрожал. В его больших, широко раскрытых глазах блеснула влага.

Хансулу обратила внимание на то, что крупный с горбинкой нос отца припух и покраснел. И вид у него был простуженный.

– Вы не больны, коке? – спросила она, и тонкие девичьи брови дрогнули, как крылья ласточки перед полетом.

– Нет, Сулутай, – ответил отец.

Все же Хансулу показалось, что отец что-то от нее скрывает.

Подстегнув коней, они нагнали вскоре худощавого, белого, как лунь, ахуна, успевшего на своем светлом верблюде уйти вперед. Не оборачиваясь, старик напевно заговорил:

– Уай, брат мой Пахраддин! Говорили мы с тобой в свое время, помнишь, наверное: баев-богатеев станут унижать, батраков же возвышать, смелых же, кто супротив пойдет – коню под хвост кидать. Считаю, схватила не на шутку власть за горло. То, что ты в Темире услышал, это начало беды. На все воля бога, сужденное же нам – увидим потом.

Помолчав, ахун продолжал:

– Все, что на свете белом вершится со дня сотворения мира и до нынешних дней, дело рук Божьих, все воле Божьей подвластно...

Двугорбый белый верблюд под ним, колыхая свисающей шерстью, двигался размеренной рысью...

¹ Жырау – сказитель, поэт.

Из разговора старших Хансулу поняла – отец везет с ярмарки нехорошие вести. Власти снова начали притеснять баев. Усиливая сомнения, ахун обронил:

– Шошу в Жайындах взяли. Бог знает, чей черед завтра...

5

В ауле радостное оживление, будто праздник пришел. Продав скот на ярмарке в Темире, мужчины привезли мануфактуру, одежду, сахар, чай. Как тут не радоваться людям?

Народ собрался в свободной гостевой юрте Пахраддина. Гости внимательно слушали напевный речитатив Лабак-ахуна. На чугунной подставе в центре юрты алели горящие угли. Маленькие язычки огня раскаленных угольков отражались в смородиново-черных глазах Хансулу.

– Уай, какие слова! – то и дело восхищенно восклицал Шарип, поддерживая сказителя.

Ахун восседал на торе¹, борода и усы – серебристо-белые, одеяние – белоснежное; худой, аскетического сложения, выглядел он как олицетворение святого духа. Домбра гудела и стонала под его рукой.

Слушал ахуна и Пахраддин, он низко опустил голову, тяжелые мысли терзали его душу.

– О, обманчивый, подлый мир, кого только не пережил ты! – пел ахун.

Этот припев ахун то и дело повторял слабым вибрирующим голосом.

– Сколько доблестных сынов, достойнейших в роду человеческом со дня сотворения мира, с того дня, как Адам ступил на землю, проводил ты в путь, откуда нет возврата! И царей, подобных сотрясателю Вселенной незабвенному царю Сулеймену, и героев, подобных бесстрашному воителю Ескендиру², проводил ты... Никто, о, никто еще не обретал покоя в этом мире, никто не находил утешения. О, обманчивый, подлый мир, кого только ты не пережил! Кому, скажи, удалось не покинуть тебя, довелось обрести покой, пребывая в тебе?!

– Ай, не скупись! Еще! – верещал Шарип, подаваясь к ахуну всем телом так, как если бы сидел на коне. – Ох-хо-хоу, красота-то какая в мудрых словах предков!

Набывчившись, Азберген мрачно посмотрел на Шарипа. Лабак-ахун, вдохновленный бурной поддержкой, налег на домбру, слова терме³ обрушились на слушателей градом.

– Ах ты... ах ты... не жалей! – стонал Шарип, не в силах скрыть восхищение.

Когда жыр⁴ кончился и с вечерними сумерками в самый центр между гостями поставили огромное блюдо, полное разваренного, дымящегося мяса, Хансулу, улучив момент, выскользнула из юрты. Свежая ночь стояла в степи, дышалось хорошо. В иссиня-черном небе перемигивались бесчисленные звезды. Отовсюду тянулся запах дыма, запах тлеющего кизяка. Наполняя хохотом безмятежный вечер, резвилась молодежь: играли в «слепого козла». В Хансулу проснулось детство, тоже захотелось поиграть, и она пошла на голоса.

¹ Тор – почетное место в юрте.

² Ескендир – Александр Македонский

³ Терме – жанр эпической поэзии казахов, исполняемый речитативом.

⁴ Жыр – героическая песня.

- Хансулу? – удивился кто-то.
- Хансулу идет!
- О, Хансулу!
- Эге-е, пусть теперь Хансулу козой будет!

Из юношей здесь были Шеге, Козбагар, Ждахай. Сестренка Шеге Балжан – они были погодки – подлетела к Хансулу и завязала ей глаза. Платок черный плотный – и впрямь «ослепла» Хансулу, ничего не видит. Балжан за руку вывела ее в круг, закружила на месте, а потом закричала:

- Слепая коза, бодни-ка, ну! – и ловко отскочила в сторону.

Хансулу, рассмеявшись, поймала руками воздух. При ее движениях пух филина на бобровой шапочке отливает светом, шуршала ткань шальваров, запрошенных в сафьяновые сапожки, гибкая, ладная Хансулу чутко бросалась на голоса и смешки и, ловя в очередной раз пустоту, хохотала, обнажая ослепительно белые при свете звезд зубы. Все шумно уворачивались от ее вытянутых рук и тоже смеялись. Громче всех, оглушая всех своим хохотом, веселился увалень Козбагар. Легкая в движениях, Хансулу, сориентировавшись на его бас, сумела схватить юношу за руку. Рванулся было Козбагар, заливаясь хохотом, но не отпустила его Хансулу.

- Все! Все!

- Попался! Козбагар, ты теперь слепой козел!

- Ойбай, мы пропали! Спаси нас, бог, от бешеного верблюда!

Козбагар, вытянув ручищи, двинулся вперед. Ждахай пристроился сзади. Не дыша, ловко имитировал он каждый шаг Козбагара, каждое его движение. Козбагар и не заподозрил, что за его спиной происходит такое. Все кругом давились от смеха.

Ждахаям наскучило изображать тень Козбагара, он ущипнул того за жирный зад и отпрянул в сторону.

- Ойбай! – возмутился Козбагар. Развернулся, но поймал руками воздух.

- Сзади он! Сзади! – подсказал Шеге.

Опростоволосившийся Козбагар шустро повернулся. Однако ему не везло. Что еще нужно молодежи? Ей только дай повод для шумного веселья. Громоздкий Козбагар не мог никого поймать. Топчется на месте, как медведь, машет руками. Юноши и девушки, словно этого и дожидались, уворачиваясь, подсказывали к Козбагару, толкали его в бок и тотчас отпрыгивали. Медлительный Козбагар стал уставать, пот заливал ему лоб, глаза. И все же от души смеялся и он. Глаза его плотно завязаны, ничего не видят. Порывается он туда и сюда, кидается в сторону ускользающих смешков. Кто-то все-таки попался. Девушки дружно завизжали. Пальцы пойманной тоненькие, нежные, да еще и духами попахивают! Девушка!.. Именно это и нужно Козбагару!

- И-и-их! Их! – заржал он обрадованно, обнимая гибко уклоняющуюся жертву.

– Не теряйся, парень! – подначивал Ждахай. – Что у неба просил, на земле нашел! Держи крепче!

Девушка изворотлива, норовит вырваться. Кругом гвалт. Подружки молотят Козбагара по плечам:

- Отпусти!

А что ему их легкие кулачки? В его объятиях девушка.

– Е-е-ех! Ех-ех! – ржет он. Лицом в девичью шею зарылся, не то целует, не то кусает ее, одурманенный духами.

– П-пусти! – вскрикнула пленница и вlepила Козбагару загрещину.

Тогда он опомнился. Это Хансулу! Другая не посмела бы так. От страха душа в пятки ушла, и он, похолодев, разжал объятия.

– Молодец, батрак! – ликовал Ждахай. Он прыгал на месте от радости.

– Наглец! – бросила Хансулу в лицо Козбагару. Из глаз ее брызнули слезы.

И тут объявился Азберген. Словно с небес грозой сошел. Правой рукой схватил Козбагара, левой – Ждахая. Не успели те и глазом моргнуть, тряхнул обоих так, что парни на колени шмякнулись, а потом свел их и стукнул лбами, как самых обыкновенных козлов. Все, кто был рядом, струсив, убежали. Ждахай, выворачиваясь из всех сил, смог высвободиться из клещей Азбергена, ринулся куда глаза глядят, в открытую степь. В ближних кустах он едва не столкнулся с Шеге.

– Ты что? – остановил его Шеге.

– Прибьет, не пожалеет, плохи дела у батрака, – и ринулся было дальше, да Шеге не пустил.

– Выручать надо, – потребовал он. – Пошли!

– Чудак, ты в своем уме?

И побежал. Понесся без оглядки, как бычок, покусанный оводом.

– Агата-ай, умираю! – донесся плачущий рев Козбагара.

– На тебе, «агатай»... Ишь, дерьмо, распустились... на тебе... на! – не унимался Азберген.

Шеге, взяв разбег, ударил Азбергена головой в спину. Тот, не ожидавший такой атаки, не удержался на месте, по инерции засеменял вперед, едва не упав на четвереньки.

– Ах, чтоб ты сдох! Кто это, а? – прохрипел он, оборачиваясь, и бросился следом.

Быстроногий Шеге понесся, петляя, как лиса. Не смог догнать его Азберген. В тот вечер не думал Шеге, что из этой невинной игры возгорится пожар. Знать бы ему, что гореть в том огне не кому-то, а ему – да еще и вдвоем с Хансулу...

В ауле поднялся переполох. Пронзительный бабий крик вспорол тишину. Это голосила хромоножка Торка, мать Козбагара. Ее гнев почище самой страшной февральской пурги.

– Чтоб тебе пусто было, Азберген! Где ты, ойбай! – вопила разъяренная Торка, наступая, как буря. Хоть и щупленькая она, характер у нее бeдoвoй.

Хромая Торка приходилась Шарипу старшей сестрой. Услышала про избиение сына Азбергенoм, тут же выскочила из дому с кочергой; переступая через порог, ушиблась лбом о косяк, жаулык¹ с головы слетел, но ничто ее не остановило. Муж ее, Уап, – известный в ауле кузнец, бирюковатый, нелюдимый; ему б с железом только возиться, все остальное для затворника – пустое. Потому не он выскочил с кочергой на врага, а хромая отчаянная Торка.

– Проклятье твоему роду, Азберген! Остановись! Ты кого унижаешь? Выходи, на твоих руках помру, ойбай!

¹ Жаулык – платок замужней женщины.

Однако Азберген не встретился на ее пути. Мерзавец, скорее всего, сбежал от нее. Торка уже не сомневалась: Азберген трусливо сбежал. Хромая старуха теперь дала волю своему безудержному гневу:

– Погоди, вражина! Если правда, что Сабетски бласты¹ есть, я до тебя, бандита, доберусь!

Старуха обнаружила Козбагара на пыльном пустыре. Припадая на ногу от волнения, повела она сына домой, зарезанного и тоже прихрамывающего – ему порядком отбили бок. В крохотном жилище Торки тускло светила коптилка. Длинный Уап еще сидел в постели, вылезши наполовину из-под рваного одеяла, и кряхтел: усы его, тонкие и вислые, подрагивали, как и опущенные уголки рта, – признак того, что он сердится. Торка, не обращая на него внимания, подвела сына к огоньку, взглянула на его лицо и взвизгнула: нос у Козбагара был разбит, брови – тоже, сам весь в синяках. Кровь из носа запачкала грудь. И она запричитала, завывала:

– Ах, язва бы тебя взяла со всем твоим родом, Азберген! Где ты, ойбай! – и устремилась к мотыге у порога, вдвое длиннее ее самой.

Уап, не выдержав, сполз с постели. Навис, длинный, как оглобля, над женой. – Будет тебе, старуха, будет, кого думаешь там изничтожить?

Уголки его губ опять задергались. Он попытался преградить дорогу разломаченной, маленькой старухе, но та в слепой ярости отмахнулась от него:

– Сгинь с глаз!

Она направилась напрямиком к дому Азбергена, таща сына за руку. Криками переполошила аул.

В юрте Азбергена не было света – легли, видно.

– Проклятье твоему роду, Азберген, выходи, коли мужик ты! Покажу я тебе, как бить-то надо! Выходи! – с этими словами хромая Торка стала дубасить мотыгой по двустворчатой двери, запертой изнутри на крючок. – Что ж ты не убил его, мальчика-то?! На, окаянный, убей! – и толкнула сына. Тот ударился о дверь. Заскрипела притолока.

– Уважаемые, эй, нельзя ль убраться, а? Дом развалите! – прогудел из юрты бас Азбергена.

– Развалю?.. Да я разгромлю твою кибитку! – взвизгнула старуха и давай бесноваться. Прыгает возле юрты, как коза, и мотыгой по ней молотит.

– Гляди-ка, разнесла уже! – уже зло отозвался из юрты Азберген.

Безудержный гнев распалил Торку:

– Да кто она такая, пропади пропадом, ханская дочь, что ли, и поцеловать ее нельзя?! Поцеловал. Ну и что? Надо будет, похлеще что сделает! Мизинчика моего Козбагара не стоит сучка ваша, а туда же – цену заламывают! Выходи, басмач, выходи сюда, чтоб твоему отцу в могиле выть! Руки-ноги свяжут – и пошел по этапу! Если правда, что бласты есть, так закуну, учти, нет, чтобы батрака лупить! Ойба-ай! Где ты, Шарип?!

Истошные вопли Торки давно подняли аул на ноги. Разлаялась вовсю аульная свора. В загонах притихли овцы, привязанные верблюды наострили уши, прекратили жевать и повернули головы в сторону шума. У юрты Азбергена собралась толпа, пришли и стар и млад. Подогретая вниманием, Торка продолжала бесноваться, прыгая козой туда и сюда, колотя по юрте мотыгой. Две женщины насилу остановили ее, взяли под руки.

¹ Искаж. Советская власть.

– Успокойтесь! Да успокойтесь же, мать! – корили они ее. – Возьмите себя в руки!

Народ недоумевал:

– Что за скандал? Объясните!

Вездесущие ребятишки, тараторя, доложили, как все было. Из их сбивчивого рассказа люди поняли: сын кузнеца Уапа, батрак бия Пахраддина Козбагар насильно поцеловал дочь бия Хансулу, когда они играли в «слепого козла». Оскорбленная Хансулу отвесила невоспитанному джигиту пощечину, а потом дядя девушки – Азберген – прижал к земле Козбагара, поколотил, разукрасил его в кровь...

Раздвигая плечами собравшийся люд, подошел Пахраддин. Он сказал Торке, принародно утиравшей слезы.

– Не сердитесь, женеше, – сказал он. – Видите, сколько нас? Как-нибудь найдем управу на одного буяна...

Дородный Пахраддин, поправляя суконный чапан, повернулся к юрте и прокричал:

– Эй, разбойник, что же ты лежишь, когда тут народ? Выйти бы надо, а?

– Дайте покой, уважаемые! Уходите! – прогудел из юрты Азберген.

Люди оторопели. Женщины от возмущения защипали себе щеки – это был жест, говорящий о том, что Азберген вышел за рамки приличий. С тех пор как существует аул, не было случая, чтобы кто-то возразил бию Пахраддину, да еще публично.

Пахраддин разгневался и ушел. Люди не знали, что с ярмарки братья вернулись в ссоре.

В толпе был и Шарип. Он молчал, пощипывая кончик жидкой бородки. Внимание аульчан переключилось на него, мол, что скажет аулнай – представитель власти? Но Шарип, обычно первым ввязывавшийся в скандалы, нынче почему-то был безгласен. Торка, притихшая было в руках женщин, опять начала биться – ее вывело из себя мирное поведение Шарипа, брата, следовательно – власти.

– У тебя что, скулы свело, ойбай? Что мне от того, что ты аулнай, ойбай! Единственную сестру защитить не можешь, на поругание нечисти отдаешь, да зачем мне такая твоя бласты, ойбай! Пустите меня, помру я лучше скитаясь...

– Да будет тебе, старуха, пошли-ка лучше домой. – Длинный Уап навис над старухой, и усы его, тонкие и острые на концах, тоже повисли. Захватив жилистыми руками сухонькую Торку, он взвалил ее себе на плечо и отправился домой. Она, дрыгая руками и ногами, неистово молотила по его плечу, кричала:

– Пусти-и, богом проклятый!.. Пусти!

Народ разразился дружным смехом. Не до смеха было только бывшему сапожнику Шарипу, недавно избранному главой аульного совета. Размышляя о классовой подоплеке этой ссоры, он все теребил и щипал свою бородку.

6

Утром, удобно разлегшись на мягких подушках и одеялах, Азберген пил чай, когда в юрту неожиданно ввалился милиционер с клинком на боку. Молодая жена Азбергена – Раш – испуганно вскочила с места.

Азберген, еще удобнее подмяв под локоть пуховые подушки, холодно, в упор уставился на гостя.

– Эй, да это ты, никак, Бухабай?! – пряча страх под наигранной веселостью, воскликнул он оживленно, будто родственника увидел.

– Кончай разговор, Азберген! Вставай! Одевайся! – приказал милиционер, узкоглазый черный крепыш с выдающимися скулами. Говорил басом – точно гром громыхал. Да и вид суровый.

Понял Азберген, что милиционера Шарип вызвал.

– Так чаю попьем, табарыш¹? Садись! – предложил Азберген, указывая на место рядом.

– Кому сказал, вставай! Как раз туда пойдешь, где чай гоняют! Такой порядок.

Над плечом у милиционера торчал ствол винтовки, на поясе клинок, туго-натуго сыромятным ремнем подпоясан, медные пуговицы сверкали, даже в глазах стальной блеск. Так и ел глазами хозяина юрты. Помрачнел Азберген. С трудом, притопывая задниками, просунул ноги в сапоги. Встал. Милиционер будто ждал этого, завернул ему руки назад, сыромятным ремнем перетянул. Азберген не сопротивлялся. А вышел – увидел толпу перед домом Шарипа. Все разом оживленно к нему повернулись. К шариповской юрте и погнал его милиционер. Азберген клокотал от ярости. Вся аульная шваль да бабы собрались, чтобы над ним покуражиться. О, позор! Не он ли, Азберген, весь этот сброд, как скотину, некогда хворостиной погонял?!

Солидные мужи аула, аксакалы, восседали в юрте Шарипа. Когда Азберген с закрученными назад руками, согнувшись в три погибели, переступил порог, первым, на кого он обратил внимание, был хозяин дома – Шарип... Верещага Шарип, с его немигающими сейчас совиными глазами. Торча, как перст указующий, довольно смехотворно выглядел он на торе в собственном доме. По правую сторону от него был Пахраддин, сияющий ясным, открытым лбом; по левую – белый, как дух, Лабак-ахун, расчесывающий пальцами бороду. Среди женщин, расположившихся ближе к порогу, Азберген заметил тщедушную Торку.

– А-а, головорез, явился? – оживился Шарип, смеясь. – Пусть-ка там и присаживается... на порожке... хе-хе...

Реплику Шарипа Азберген воспринял, как удар хлыста по лбу. Но что он скажет? Униженный, смурый от обиды, он лишь прикусил губу. Все глаза – на нем. Милиционер ткнул его в спину. Еще больше помрачнев, отчего его мясистое лицо вспухло, Азберген опустился тяжело на колено. Глянул было на старшего брата – тот, видимо, чувствовал себя так скверно, что не в силах был оторвать от пола глаз.

– Пиши! – отчеканил Шарип торжественно и нервно заерзал на месте. Для него настала приятная минута.

Азберген кинул хмурый взгляд на аульная, а тот передвинул к сыну – Шеге бумаги, которые перед ним лежали. Шеге сидел уже с ручкой наготове. В рот, считай, заглядывал отцу, от напряжения губы облизывал. «Ах, щенок, не попался ты мне ночью, жаль!» – думал Азберген, задыхаясь от злости.

– Пиши! Протокол²... Написал?

– Написал!

Народ притих. Снаружи громко галдели люди.

¹ Искаж. товарищ.

² Искаж. протокол.

– Эй, заткнитесь там, язва вас заберите! – закричала Торка.

Сразу стало тихо, будто аулчан окатили ледяной водой. Только чий на стенках юрт шелестел от ветра со стороны Арки.

– Причина написания протокола следующая: напиши, было вчера в ауле Пахрадина классовое столкновение. Байский отпрыск Азберген Мусаулы при всем честном народе избил батрака Козбагара Уап-улы... да, пиши... Козбагара Уап-улы избил. А главный повод к избиению такой: батрак Козбагар, влюбленный в племянницу байского отпрыска Азбергена Хансулу, имел вчера неосторожность эту свою любовь выказать...

Шеге усмехнулся.

– Пиши! Это не первый случай, когда Азберген над беззащитными бедняками измывается. С приходом Сабетски бласты он спеси, правда, поубавил. А то ведь отъявленный головорез был, ты ему – а, он тебе – на! Аул устал от противозаконных выходов наглеца. Кто на годовых поминках по Ибраю велел выволочь меня из юрты, где сидели аксакалы? И ведь из-за того, что мне, сапожнику, место, видите ли, у очага, рядом с бабами. Мало того, колотил меня, будто козлиную шкуру. Сей Азберген есть самая что ни на есть контра...

– Шарип! – заговорил Пахрадин, распрямляя грудь. – Мы с тобой ровесники, можем поговорить без обиняков. Дело это прошлое, да и не советом ли тех же аксакалов решилось? Зачем ворошить то, что забылось?

– Хорошо. Пусть так. Пошли дальше. Пиши. Бласты – бедняцкая. Кто бедняк? Бедняк – Козбагар. Раз Азберген поднял руку на Козбагара, он, значит, поднял руку на бласты! Пиши!

Тут многие забеспокоились, стали перешептываться.

– Пиши! Нет закуна, чтобы батрака били! Времена Мекалая¹, когда такой закун был, прошли, и не вернутся больше!

Толпа зашумела, загудела, как встревоженный пчелиный рой.

– Пиши! – взвился тонкий голос Шарипа. – Пусть Азбергена как бая за избиение батрака судят. Пусть его гонят на каторгу, туда, где на собаках ездят!

На лице Пахрадина обозначился испуг, глаза округлились, он поглядел на ахуна, сидящего рядом, который, захватив бороду в горсть, кажется, подремывал. Но нет – почувствовал, видно, святой человек пахрадиновский взгляд, молящий о помощи. Поднял голову. Расчесал пальцами бороду.

– Шарип, одумайся! – проговорил он увещевающим голосом праведника.

Однако Шарип не хотел прислушаться ни к чьим мольбам. Лицо его выражало решимость. Он сидел прямо, непоколебимо, похожий на столб, врытый в землю. Жайбаскан, благонравную его жену, задела жестокость мужа:

– Кроме Сибири, других мест, что ли, нет? Пишите протокл правильно. Не делайте из мухи слона.

– Не будем менять! Все! Тащи печать, Шеге! – вскричал Шарип, лютуя. – Пусть топает по этапу головорез! Нашел с кем связываться!

Слово Сибирь, похоже, ошеломило ощетинившегося Азбергена. Он поднял голову, оглядел всех изумленными глазами, будто спрашивая: «Взаправду ли вы это, люди, или так... припугнуть хотите?»

Старуха Торка так и вскинулась:

– Довольно позора от него! Туда ему и дорога, в Сибирь, богом проклятому!

¹ Т. е. во времена Николая II.

– Ту-у-у, мать, не довольно ли с вас огня, что кинули меж двух аулов? – упрекнула ее какая-то женщина.

Круглая, со ступню верблюжонка, печать оказалась в руке Шарипа. Он угрожающе подобрался, выставив вперед угловатые плечи. Послышались испуганные женские возгласы. Пахраддин, качнувшись грузным телом, издал звук, похожий на стон:

– Подумать надо сначала, а?

Однако Шарип оставался глух и нем. Он разложил «протокол» перед собой, печать ко рту поднес, начал на нее дуть. Народ затаился, со страхом наблюдая за ним. А Шарип не смотрит ни на кого, руку назад отвел и – с размаху – печать в бумагу и всадил! Люди вздрогнули, а некоторые женщины, не выдержав, вскрикнули:

– Ай!..

– О, бог-создатель!

Протягивая милиционеру бумагу с печатью, Шарип сказал:

– На, держи! Отдашь Дуке!

Дуке – аульчане так прозвали Дукенбая Исмаилова, председателя волостного совета. У милиционера Бухабая жирный, крутой загривок. Он неторопливо свернул документ и так же неторопливо сунул в нагрудный карман, а карман застегнул на пуговицу. Набывчившись, посмотрел на Азбергена, приказал по-русски:

– Марш! – а по-казахски добавил: – Ступай!

Азберген неуклюже поднялся. Его мясистое лицо стало багровым. Направляясь к выходу, бросил взгляд на Пахраддина. Старший брат сидел, вперив глаза в землю. Народ хлынул наружу, чтобы проводить «арыстыбая»¹ Азбергена.

– Эй, люди! Куда вы? Не расходитесь. А долг хозяина? А угощение? – поднял голос Шарип. – Эй, Шеге, вставай! Разделай поскорее черного ягненочка!

– Сыты по горло, ровесничек, куда уж больше! – выдавил из себя Пахраддин, не скрывая обиды. Он тяжело поднимался с места, собираясь уходить.

– А ты на меня не серчай, сам говоришь – ровесники мы. Стало быть, понимать меня должен. Государственное дело – одно, а наша с тобой дружба – другое. Разве не так, ахун-ага? Пригласишь – не придете ведь, больно именитые, а раз под крышей моего дома оказались, так должны отведать положенное гостям!..

Шарип говорил искренне. Пахраддин и Лабак-ахун переглянулись. Они поняли друг друга – надо принимать приглашение, находить общий язык с Шарипом.

Был полдень. И стар и млад глядели на единственный в округе пыльный большак на востоке, взбиравшийся на увал. По нему удалялся всадник, подгонявший пешего. Подгонял безжалостно, не давая передохнуть. Пыль высоко вздымалась из-под ног идущего. Это был «арыстыбай» Азберген.

Солнце серой пеленой затянули тучи. Северный ветер, со свистом ударивший по степи, набрал силу. Взяв в одну руку кумган для омовения, а другой захватив край чапана, степенно удалялись к зарослям полыни дородный Пахраддин и длинный и сухой, как шест, Лабак-ахун. Оба невеселы.

Пахраддин, прокашлявшись, спросил:

– Как вы думаете, ахун-ага, чем это закончится?

– Аллах знает, он всему очевидец... уж больно скоро времена меняются, брат мой. Если кто не напакостит вдгонку, – допросят-допросят, да и отпустят его.

¹ Искаж. арестованного.

– Хорошо, если так. Лишь бы дело не приняло плохой оборот. Не уходят из памяти слова уполномоченного на ярмарке. Как в воду вы глядели, говоря: «Баев будут унижать, а рабов, напротив, возвышать...» Сейчас несчастного в волостную управу доставят, а попал туда, считай, тюрьма...

– Время! Время! Стужей от тебя веет, времечко, – чуть ли не со стоном выдохнул Лабак-ахун. Пахраддин опять прокашлялся, прочищая горло.

– И Верещага, чувствуется, знает кое о чем, потому действует уверенно. Знает – время нынче такое, что из мухи слона раздуть можно, вот и пользуется. Что делать, ахун-ага? Азберген, конечно, – пес, но брат он мне, опора моя единственная. Время, сами видите, такое, миром можно было решить скандал, не вынося сор из аула... С невинной детской игры возник этот пожар...

– С детской игры... Ну да... Бог свидетель...

Лабак-ахун, поставив кумган на землю, долго расчесывал руками длинную серебристую бороду.

– Бог свидетель, девочка – невеста, а парень – жених, а? – сказал он потом.

– Так-то оно так, – отозвался Пахраддин, загрустив. Он выглядел подавленным, даже изнуренным.

– Гм-м, – промычал ахун и задумчиво поглядел на посеревшее небо.

Когда они вернулись в юрту, белый Лабак-ахун, прошествовав на тор, обратился к хозяину:

– Уай, Шарип!

– К вашим услугам! – с готовностью откликнулся Шарип.

– Преклони колени! Торка-келин, и ты присядь! Уап, и ты послушай! Бог свидетель, скандал случился в ауле. Народ! Было сказано: «Даже если окровавлены вы, прощайте друг друга, ибо вы родственники». Если поссорились дети, нужно помирить их. Если раздор между людьми из одного рода, нужно укрепить их родство. Шарип, Пахраддин, Торка-келин, брат мой Уап! «Решение тяжбы – мир, задача – дойти до цели, цель девушки – с честью покинуть отчий кров». У молодых есть влечение друг к другу. У Торки-келин сын подрос, у тебя, Пахраддин, видит бог, дочь твоя расцвела. Станьте сватами! Верните азамата домой! Если вы согласны, благословим их союз! Хочу я к согласию вас привести, хочу породнить. – И Лабак-ахун первым совершил ритуальный жест – молитвенно раскинул ладони.

Исход дела оказался неожиданным для обеих сторон, он был как гром на голову. Ошеломленные люди хранили молчание. Пахраддин, не проронив ни слова, качнувшись грузным телом, устался в землю. Шарип, прочищая запершившее вдруг горло, закашлялся, поглядел растерянно на Пахраддина, на ахуна, заерзал на месте, словно под ним вода проступила. Старая Торка, вскинувшаяся было поначалу, теперь тоже умолкла, даже не дышала – выжидая, видно, чем все закончится. У Уапа вытянулось лицо, задергались уголки рта. Шеге, который у порога обрабатывал шкуру прирезанного ягненка, посыпая на нее соль, услышав сказанное, метнул в сидящих диковатый взгляд.

Шарип, в конце концов, пришел в себя. В его круглых совиных глазах заиграли огоньки, переминаясь, он рассмеялся каким-то деревянным голосом и воскликнул:

– Уай, святой отец! Прекрасное решение! Какой тут разговор? Уай, да быть мне жертвой в пользу благого дела, вот что значит мудрый человек! Вот так совет! Торка! Ты не лопнула еще от такой радости? Счастливчик твой сопляк! Давай благословение, чего ты? – и возбужденно раскинул руки.

Торка, захихикав, подтолкнула в бок своего старика и быстро раскрыла ладони. Один только Пахраддин медлил с ответом. Старый ахун повернулся к нему:

– Ну, браток Пахраддин, благословляй! Освящу ваш союз! – и, вскинув серповидный нос, глядя куда-то вдаль вверх голов, выбросил вперед сухую костистую руку. Пахраддин, тяжело качнувшись назад, молитвенно развел ладони. В это время Шеге выбежал за порог.

– Уай, дикарь! – бросил ему вслед Шарип.

Прочувствованным голосом Лабак-ахун стал произносить торжественные слова освящения:

– Агуз-зи бил-лахим!...

Народ в юрте почтительно притих.

7

Весть о том, что Пахраддин отдает дочь за Козбагара и тем спасает Азбергена, мигом облетела аул. Перед большой белой юртой Хансулу подбрасывала щепки в самовар, когда от пробегающих мимо ребятишек услышала о новости в доме Шарипа. Путаясь в платье с длинным подолом, с криком «Апа!»² вбежала в дом:

Мать взбивала кумыс в сабе – кожаном бурдюке. О происшедшем узнала из выкриков тех же мальчишек. Побледнев, застыла на месте с мешалкой в руке. Обняла прибежавшую со двора дочь:

– О, создатель, и не посоветовался... Пойдем, пойдем, доченька, к твоему сумасшедшему отцу!

– Не пойду! – отрезала Хансулу. Глаза ее зло полыхнули. Она стояла, сжав кулачки.

Бедная мать поняла, что уговаривать дочь бесполезно.

– Хорошо, сама пойду, – сказала она.

Поправила на голове белый жаулык – и пошла своей неторопливой, мягкой поступью. Такая уж мать у Хансулу – мир кругом гореть-полыхать будет, а она себе не изменит: такой же невозмутимой останется...

Хансулу знала, что, если отец что-то решит, то наверняка так и будет. Поэтому теперь словно небо на нее обрушилось, будто все вокруг обратилось в прах.

Камча висела на кереге³ юрты. Взяв ее, Хансулу побежала к Каракеру и, уже садясь, внезапно повернула коня к дому Козбагара.

Козбагар, еще не оправившийся от побоев Азбергена, был в постели. Синяки не сошли ни с тела, ни с лица. Только что у него побывал Шеге, страху нагнал, дурень. Накинулся среди бела дня, схватил за ворот, потом стащил с постели! Зачем, говорит, тебе, собачий сын, Хансулу – и принялся душиить. А сам... чуть не плачет. Перепугался Козбагар, орет: «Ой, Шеге, ты чего? Что с тобой?» А тот – ну прямо свихнулся – швырнул его снова на постель и был таков. Уж так топал, когда бежал, что можно было подумать, Азраил, ангел смерти, за ним гонится... О, боже! Пока Козбагар, потрясенный, приходил в себя, с криками мимо дома пробежала ребятня. Понял Козбагар, почему Шеге сходит с ума. Хансулу – жена Козбагара? Как в это поверить? А перед глазами – Хансулу, гибкая, словно тростинка. Будто бы подходит нему, обнимает, сама прячется в его объятиях.

¹ Сура из Корана.

² Апа – мама.

³ Кереге – деревянная решетка, образующая стены юрты.

Тут с треском распахнулась дверь, и вошла... Хансулу! И впрямь как у офицера русского выправка у нее! В смородиновых глазах – блеск. О, как она прекрасна! Загнутые кверху ресницы, пухлые губы. Камчу в ее руке он заметил потом.

Козбагар тотчас юркнул под одеяло, спрятался под него с головой. Но девушка подлетела и сорвала одеяло.

– Это ты-то меня берешь? – спросила она.

– Не я, ойбай, не я! – завопил Козбагар, не сводя глаз с занесенной над ним камчи. Но Хансулу полоснула со всей силы по правому боку парня. – Ойбай-ай-й-й!..

Неприступная, негибкая, вышла, громко хлопнув за собой дверь.

А за домом Шарипа в это время встретились Пахраддин и его байбише.

– Благоверный ты мой, – спросила она, не решаясь возвышать голос. – Что с тобой? Ты думаешь, что делаешь?

Ветер шевелил тронутые сединой усы, бороду Пахраддина, на красивом мужественном лице яснее проступали морщины, заметно осунулся он. Хмуро молчал, думал о чем-то.

– Пойми... – сказал он тихо жене. – Сегодня на мир по иному смотреть надо. Нынче батрак грошовый заткнет за пояс и бая и мырзу. Это надо видеть, надо чувствовать... Вот я и подумал – у твоей дочери должно быть будущее... Это надо понять, байбише...

...Эхо того события, случившегося поздней осенью 1927 года у Таскудыка, отдалось по всем аулам большого рода Табын в Ушоймауте и Донызтау по южную сторону реки Жем. Не богатством славился Пахраддин, люди ценили его как бия за ум, красноречие, справедливость. Весть о том, что такой почитаемый в народе человек по своей воле отдает единственную дочь за батрака, показалась всем странной и неожиданной.

КОЧЕВЬЕ НА УСТЮРТЕ

1

Всю ночь падал сухой снег. Люди в ауле, намеревавшиеся через неделю-две отправиться к теплым, надежным зимовкам в далеких отсюда песках Сама, были встревожены. Рано выпавший снег сделал откочевку трудным делом.

Хансулу мучала бессоница. Свернувшись калачиком на теплой постели, тщетно звала к себе сон; мысли не давали ей покоя, ворочалась и ворочалась она с боку на бок. Казалось, одна она на всем свете – лицом к лицу с непогодой и ночью, и тьма, окутавшая вселенную, не рассеется никогда.

Только перед рассветом и уснула утомленная Хансулу.

Проснулась от тепла печки, от огня, гулко полыхавшего в самом центре юрты. Через откинутый тундик¹ виднелось светлеющее небо. Мать с женщинами, помогавшими ей, плотно увязывала в тюки постель, одежду, ковры и другую домашнюю утварь.

¹ Тундик – кошма, прикрывающая дымоход юрты.

– Сулутай, вставай! Аул откочевывает, – сказала она, подавая ей теплую одежду: лисий тымак, беличью шубку, кожаные штаны.

Сами женщины уже были одеты, туго подпоясаны кушаками. Хансулу вышла из юрты и зажмурилась – даль слепила сплошной белизной. Вокруг, насколько доставал глаз, стелился снег. Перед кухонной юртой толпились мужчины, среди них ее отец Пахраддин, дядя Азберген, Булыш, Верещага Шарип, они разделявали только что заколотую жирную кобылу. От груди мяса, обнаженных внутренностей шел густой пар.

– Ойхой, жирна-а лошадка! Жир-то в пять пальцев, с ладонь! Ох-хо-хой! – стонал Шарип.

Азберген, засучив рукава, отсекал мясо топором и частями кидал его на подставляемые подносы.

– Берите! – приговаривал Пахраддин звучным на утреннем воздухе голосом. – Берите! Всем хватит! Пусть дорога будет удачной!

В кухонной юрте на треноге – огромный казан. Под ним – буйно пылающий огонь. Всю оставшуюся конину отец велел заложить в этот казан. А до тех пор, пока будет вариться мясо, мужчины разберут юрты. Вещи укладываются в тюки, тюки перетягиваются канатами – все для того, чтобы сподручнее было навьючить домашний скарб на верблюдов.

Булыш и Козбагар заняты своим делом – собирают в связки оставшееся в сараях топливо: жерди, обрезки досок и бревен.

– Аркан тащите! – велел Пахраддин. Принесли арканы, толстые, витые из конопли.

– Булыш, нара давай!

Связанные жерди и бревна образовали груду внушительных размеров.

– Обвязывайте!

Булыш привел надменно, степенно вышагивающего Шойынкару. Огромный черный нар, шумно выдувая воздух из ноздрей, свысока оглядел людей. Под волосатыми веками верблюда поблескивали крупные серые глаза. Булыш подвел его к куче, заставил опуститься на колени. Верблюд с ревом лег, заскрипел зубами. На спину животному положили седелку, двое джигитов с обеих сторон подтянули подпруги. Два конца арканов крепко-накрепко привязали к двум сторонам седелки.

– Ну-ка, подыми его теперь! Чу, Ойсылкара¹!

Великан Шойынкара, раскорячившись, встал. Булыш взял его за повод. Снег был верблюду по колено. Только крупной и сильной скотине – верблюдам да лошадям – под силу переход по глубокому, не слежавшемуся еще снегу, а овцы и козы, к примеру, не сделают по нему и шага.

– Гони-ка! Поглядим!

Шойынкара напрягся и сорвал древесную груду с места. Она поплыла, вспахивая пушистый снег. Позади открылся путь шириной в размах вытянутых в стороны рук. Шарип, не сдержавшись, восторженно заклекотал:

– Ойхой! Умереть за тебя не жаль, животина!

Время было полуденное, день пасмурный. Тусклое, безрадостное небо сливалось с отрешенно-белой, заснеженной степью. Посередине белого безмолвия

¹ Ойсылкара – святой, покровитель верблюдов.

застыло на месте пестрое кочевье. Не может оно двинуться. Не может, потому что Шойынкара, который с дровяной грудой должен был прокладывать путь каравану, не стал слушаться повода. Булыш, злой, даже камчой его стеганул, но тот лишь головой помотал.

– Не бей! По-другому надо! – заступился за верблюда Пахраддин, подъезжая на коне.

От многоголосого блеяния отары людям не по себе. Овцы голосят потому, что не могут идти в глубоком снегу. Бедняги пастухи измучились, пытаются заставить козла – вожака отары идти впереди. На увале, словно покинутый духами, тревожно суетился аул бая Мажана, он тоже готовился к кочевью. Люди разбирали юрты, вязали тюки.

Черный нар, который должен был торить путь, все еще упрямылся. Сделает шаг-другой, а затем, скрежеща зубами, оборачивается назад и – застывает с разинутой пастью. Люди в растерянности. Старухи-вековухи, согбенно сидящие меж горбами верблюдов, в сердцах поносят Шойынкару. Пестрая толпа верховых женщин, молодок и девочек стоит в сторонке от каравана и выжидает. Хансулу на своем Каракере среди них. На ее голове лисий тымак, беличья шубка с черной плюшевой изнанкой плотно перехвачена широким серебряным пояском.

– Чтоб тебе пропасть! – донесся громкий голос Пахраддина. – Понял я теперь, что старому хрычу-то моему надо! – Пахраддин смеется, аж плечи трясутся. – Уай, джигиты! Табун вперед выводите! Вон тот... все дело в нем.

Джигиты быстро вывели вперед верблюжий табунок, который был в хвосте кочевья. Шойынкара, обросший ключьями шерсти так, что она свисала и с морды, тотчас ошетинился, пристально, в упор разглядывая замелькавших перед его глазами тонконогих верблюдиц с облезлыми ляжками, одногорбых и двугорбых, молодых и не совсем молодых. Это было его стадо, которого все лето он был полновластным вожаком. Ноздри уловили мягкий, влекущий запах аруаны¹. В одном из потаенных уголков души громадного нара поднялся щемящий зов, могучий, ничему неподвластный. Заскрежетал Шойынкара зубами. Из глаз, злых, зорких, как у беркута, как бы посыпались искорки, он захлестал себя хвостом по мощному бедру.

Вздывившийся черной тучей, рванулся он вслед за табуном самок. Дровяную вязанку, которая по размерам не уступала, пожалуй, туше крупного верблюда, поволок с места без особого напряжения. Пушистый снег разверзся и стал укладываться волнами по обе стороны торной дороги. Кочевью открылся широкий удобный путь.

Расшумелись, развеселились люди, посыпались шутки:

– Разрази тебя гром, Шойынкара! Ну и хоро-ош!

– Вы только подумайте, каков пес!

– Постыдился бы на старости лет-то, а?

Последнюю реплику произнесли женщины, щипля свои щеки, выражая свое возмущение.

Кочевье, выстроившись в колонну, двинулось по следу Шойынкары. За кочевьем косяками пошли лошади, отарами двинулись шумно блеющие овцы, ведомые лунорогими козлами с колокольчиками на шеях. Так аул начал свой

¹ Аруана – одногорбая верблюдица.

полумесячный переход за тридевять земель к дальним благодатным, щедрым на тепло и саксаул пескам в Великом Саме.

Великое мироздание цепенело безграничным белым саваном, по снежному безбрежью медленно ползло кочевье. В холодном безмолвии аул искал свое зимнее пристанище.

2

Группа верховых с притороченными к лукам седел мотыгами, лопатами, кетменями еще в полдень скорой рысью рассыпалась по степи. Она ушла вперед, оставив караван далеко позади. Наступило послеобеденное время. Всадники, до пенного пота погоняя запаленных коней, торопились. Куцый гнедой конь Шеге едва успевал за сильными жеребцами, да и хмурый Шеге не очень-то его и подгонял. Он был молчалив, замкнут.

До назначенного места джигиты добрались перед закатом. Южное, защищенное от ветра подножие округлого, одинокого на равнинной местности холма испокон веку служило надежной стоянкой для кочующих аулов. Сейчас оно было завалено снегом. Джигиты дружно спешили с коней и, не мешкая, принялись за дело. Самая тяжелая работа – вырубать мерзлоту и расчищать место для юрт и для крупной скотины. За нее взялись опытные джигиты, подобные Булышу и Азбергену, а Шеге, Козбагар и другие, что помоложе, стали расчищать снег для овечьей стоянки. Семь потов сошло с парней. А когда солнце уже клонилось к закату, на северном горизонте показалось позванивающее колокольцами длинное кочевье. Впереди, прокладывая путь, вышагивал Шойынкара, его издали можно было узнать по лохматой черной холке.

Уже ближе к закату голова шумного кочевья достигла стоянки. Скованная холодом глушь разом ожила. В самом центре расчищенной площадки, исходя паром, возвышался Шойынкара. Джигиты спешно освобождали его от арканов. Воздух с шумом вырывался из черных ноздрей, огромный черный нар, широко расставив ноги, надменно оглядывал округу, с груди и паха животного клочьями свисала белая пена, по бокам стекал пот.

Люди, стараясь с толком использовать последний солнечный свет, спешно возводили шалаши на расчищенных участках. Скот привязали, коров подоили. Разожгли припасенные в дорогу кизяк, дрова – огонь запылал в очагах; над пламенем повесили казаны. В шалашах, сооруженных из кереге юрт и кошм, не сетуя на тесноту, поужинали горячим. После чая складки разгладились на лбу Шарипа, повеселев, он умудрился даже растянуться на спине и посадить себе на грудь маленькую Гульжан, от удовольствия он даже и мурлыкнул что-то. А потом его взгляд упал на Шеге, сидевшего с отстраненным видом, и он поднял голову. Жидкие рыжие усы его встопортились.

– Эй! – окликнул он сына. – Эй, бородатый пес! Глянь-ка сюда! Я тебе говорю!

Пять дочерей Шарипа, теснившихся в шалаше, звонко и переливчато рассмеялись. Шеге повернулся к отцу. Молча уставился на него. В небольших острых глазах – холод.

– Ты, собачий сын! Чего это как в воду опущенный ходишь? Что случилось? Говори!

– Ничего не случилось, – невозмутимо отрезал Шеге.

– Ой, болван! Нас, что ли, обмануть хочешь? Говори! Послушаем.

– Лежал бы себе! Дался тебе мальчишка, что пристал к нему? – возмущенно глянула Жайбаскан. Она озабоченно возилась с казаном у очага.

– Пристал – стало быть, надо! Люди-то говорят: Шеге растет ладным джигитом, будет опора дому. Так вот, послушаем азамата, пусть выскажется. Почему он такой смурной?

Маленькая Гульжан внезапно перебила его речь:

– Плохой ты! – заявила она, тыча указательным пальчиком в грудь отца. – Зачем Хансулу Козбагару отдаешь? Шеге-ага Хансулу любит... Понял?

– Замолчи! – рявкнул на сестренку Шеге.

Гульжан крохотной ладошкой послушно прикрыла рот.

Жайбаскан от неожиданности выронила скребок, которым скрежетала по казану. Балжан, разливавшая чай, испуганно втянула голову. Шарип вытаращил свои круглые совиные глаза. Теребя жидкую бородку, посмотрел на жену и задергал головой, как будто говорил: «Видала?..»

Обретя дар речи, повернулся к Шеге, сказал:

– Вот это мерзавец! Узнали теперь, в чем причина беды, – и снова закивал головой.

Терпение Шеге на этом кончилось. Он уже не мог сдерживать свой гнев.

– Что ты узнал? Ничего ты не узнал! – взвился Шеге, вскакивая с места. – Ничего не узнал! Сводничаешь, преступление против закуна делаешь, вот что!

– Эй, щенок, свиньей вскормленный! Ты сядь, не ори! – рассердился было Шарип. Однако почему-то сказал это тихим голосом. Ощетинившийся Шеге в упор смотрел ему в глаза. «А ведь он и впрямь джигит», – подумалось Шарипу..

– Сядь! – тихо попросил он.

– Не сяду! Уйду! Не нужна мне такая... – и, захлебнувшись словами, Шеге ринулся было к двери, да мать преградила дорогу:

– Сядь! Раскипятился. Отца впервой видишь?!

...Поскрипывая схваченным морозцем снегом, движется кочевье. Тяжело навьюченным могучим нарам зимние неприятности вроде стужи и свистящего ветра нипочем. Они ступают размашисто. В кошевках на их спинах белеют материнские жаулыки, они тихо раскачиваются – то вперед, то назад – под ритмичный верблюжий шаг. А там, где на резвых конях гарцуют тепло одетые джигиты и молодые женщины, – шутки и пересмешки, весёлый гвалт. Однако все громче и громче блеют козы и овцы, у которых со вчерашнего дня во рту ни соломинки не побывало.

Впереди кочевья мелкой рысью поспешает верблюжий табун. За ним громадный Шойынкара волоком тащит по снежному простору свою громадную вязанку. Снег слежался, по плотности не уступает, пожалуй, и насту, и все же Шойынкара вспарывает его, как и прежде, легко прокладывая путь всему кочевью; снежные бугры глыбами отваливаются в обе стороны и опадают волнами. Неумолим шаг крепких ног, ходуном ходят мощные ляжки, и хотя впалое подбрюшье и обросло уже льдинками, из черных ноздрей вырывается горячий пар, а в глазах полыхает огонь. Снег серебристой пылью клубится под ним, взметается бурунами. Джигиты то и дело подъезжают к торчащим из-под снега кустам баялыша

и полыни, срезают траву и скармливают нару на ходу. Голодный, он охотно все тут же заглатывает.

Еще через три ночевки, на четвертый день кочевье через Кольтабан вышло на плато Устюрт. Слабые овцы и козы, подошедшие с голоду, остались на дороге. Стуча копытами по ровной тверди, двигаясь безостановочно по равнине, кочевье через неделю спустилось к солончаковому озеру Оким-Киык, а через несколько дней достигло песков Сама. Снег в песках лежал тонким слоем, густая трава была в изобилии. Скотина, оголовавшая во время долгого перехода, с волчьей жадностью накинулась на все, что темнело на снегу, даже на голые сухие кустарники. Аул глубоко вклинился в обширную саксаульную чашу, люди обосновались на теплом кыстау-зимовье, на привычном становище, куда они возвращались каждую зиму.

3

Для Хансулу потянулись безрадостные серые дни зимы. Изнеженная родительской любовью девушка, не слышавшая за всю свою жизнь ни окрика, ни грубого слова, без сетований, стойко переносила выпавшее на ее долю испытание. Отцу она ни слова не сказала, мол, зачем вот так, за нелюбимого отдасте, но и перестала обращаться к нему, как прежде, с нежным «коке». Пахраддина, правда, в ту пору ее состояние не очень-то и занимало – ему было не до нее. Каждый вечер они с Азбергенем сходились для разговора и спорили, спорили... Афганистан и Иран часто поминали...

Молчалива и мать. Как только обосновались на зимовке, она принялась готовить дочери приданое. День-деньской она проводила за ручной швейной машинкой, увлеченно строча по ткани.

...Зимний вечер опустился рано. В юрте еще не зажгли лампу. Полумрак густел. На железной треноге в самом центре юрты булькал казан. Аромат варящегося мяса заполнил помещение. Жарко попыхивали под казаном горящие угольки. Не отрывая глаз от огня, Хансулу негромко перебирала струны домбры; она – единственная сострадалица раненой девичьей души. Словно старая плачущая женщина стонет, вздыхает домбра.

Сырга-байбише дала, наконец, покой швейной машинке, тихо поднялась, зажгла лампу, висевшую над порогом. Привлекательная, незлобивая нравом, она бесшумно, как тень, передвигалась по юрте. Не хотелось ей беспокоить дочь. Но вот и домбра умолкла.

В юрте наступила тяжелая сумрачная тишина. Она как будто и весь аул придавила. Снаружи чей-то крик нарушил безмолвие. Сырга-байбише вздрогнула, прислушиваясь к звукам, Хансулу же выскочила за дверь и увидела в центре аула костер из кучи саксаула, пылающий с подветренной стороны большой снежной горы. Так люди, растапливая чистый снег, получали воду для питья. Но дело было не в костре – это обычная для зимовья картина. Недалеко от огня на стригунке кружил Ждахай, он бесновато носился вокруг аульная, который бежал в сторону увала. Шарип тоже кричал. Люди, сидящие у костра, кинулись вслед за Шарипом на окраину. Хансулу тоже побежала. Сначала она увидела бегущую от зимовья Мажана женщину, ее нещадно хлестал камчой преследующий по пятам всадник в лисьем малахае. Уже на холме аульчане признали в женщине Балкию, а в преследователе – бая Мажана. Так вот почему Шарип кричал!

У бедняжки Балкии волосы рассыпались по спине и плечам, полы шубки во-локлись по снегу, руками она прикрывала голову от ударов. Все подставляла и подставляла руки. А Мажан всю работу камчой, махал и махал...

Люди расшумелись:

– Ой, он же убьет ее!

– Сдурел, что ли, старик?

– Нечего было молоденькую брать, коли не выносишь ее баловства!

Лошадь Мажана грудью сбила женщину с ног, она упала ничком. К ней на выручку кинулся на своем стригунке Ждахай, за ним пешим – Булыш. Мажан замахнулся и на Булыша, который, добежав, помог Балкие подняться.

– Бросьте! – задыхаясь от ярости, взревел Булыш и, вырвав из рук старика камчу, сломал пополам рукоять и отшвырнул прочь.

У Мажана от неожиданности встопорчился единственный волосок на черном родимом пятне на щеке. Напустился на жену:

– Иди, жалуйся теперь своей власти! У-ух, скорее околела-бы ты, блудница!

Развернув светлорыжего иноходца, бай зарысил обратно. Низина между двумя аулами запестрела от возвращавшейся с пастбища скотины. Пастухи и табунщики спешили к месту происшествия. Булыш и Хансулу вели под руки Балкию, едва переступающую ногами. Камча в двух местах оставила след на прекрасном, бледном лице Балкии. Опустив голову, опираясь о руку Булыша, она беззвучно лила слезы. Красавица Балкия представлялась Хансулу женщиной гордой, свободной, но вот сейчас она эту Балкию видит униженной, посрамленной на глазах всех. От жалости прослезилась и Хансулу. В ее душе кипела злость на грубиянов, подобных Мажану.

Дом Булыша был уже близко, когда послышался ясный, сильный голос Дау-апы. Рослая черная старуха, сжимая в руке палку, стояла рядом со своим дырявым домом.

– Сынок, ты меня слышишь? Мне и своих-то несчастий хватает. А власть – так она вон, за тобой, – и повелительно показала на Шарипа. – Она и решает споры. Вот туда ее и веди, слышишь?

– Апа-ау, – запротестовал Булыш, но старуха замахнулась на него палкой.

– Кончай прекословить! Знаю, что у тебя на душе. Делай что говорят! – поставила точку в разговоре старуха.

– Булыш, – сказала Балкия, собравшись с силами. – Не нужно мне ни власти, ничего другого. Помогите мне, найдите, на чем добратся до родичей.

– Но ведь ночь... Балым! – взмолился черный, как уголь, Булыш, беспомощно озираясь по сторонам.

В эту минуту Хансулу стало жалко Булыша. Покойная его жена была в дальнем родстве с Пахрадином, он ее сестрой называл, так что Хансулу обращалась к Булышу традиционно, как к зятю: жезде. Подобное обращение несколько упрощало их отношения, жезде, как водится, снисходителен к просьбам, вот она и решилась:

– Пусть, – сказала она, – Балкия к нам пойдет, у нас переночует.

Мгла сгустилась, стало темно, в ауле обычная суета: хозяева овец в кошарах запирают, верблюдов на ночь к арканам привязывают – время позднее. Да и Пахрадина, как оказалось, дома не было – уехал на могилу святого Барака, память предка почтить да долг сыновний исполнить.

Булыш Балкию до самого жилища Пахраддина и довел, что-то шепнул ей у порога. Та молча кивнула. Не услышала Хансулу, о чем они перемолвились.

...Не замедлив, из-за моря барханов показалась и луна. Задул, подвывая, северный ветер, закачал густые верхушки саксаула. Лохматые псы, стражи кочевников, ранее бдитительно подававшие голос, разбрелись по теплым, защищенным от ветра уголкам и заснули. Издали слышался вой рыскавших по пустыне волков. Глухая ночная пора, аул крепко спит...

Саксауловая чаща перед зимовьем густа, загони туда верблюда – не найдешь потом. У входа в этот девственный лес, в укромном месте между стволами деревьев стоял Булыш. Луна поднялась уже в зенит ночного неба. Но вот приоткрылась дверь большой белой юрты в центре аула, от нее отделилась тень, заскользила в сторону чащи. У Булыша замерло дыхание, он наблюдал из кустов. Маленький женский силуэт неспешно приближался. Поверх плеч на женщине – полушубок, на голове – белый шелковый полушалок с кистями. Балкия шла, придерживая руками отвороты шубки.

Булыш вышел из укрытия. Балкия приближалась к нему по снежной, слабо освещенной лунной полосе. Она улыбалась ему. Такая близкая его душе улыбка – милая, легкая, светлая. В теплых сапогах, малахае, в шерстяной телогрейке Булыш неловко обнял нежно прижавшуюся к его груди женщину, приник жадно к теплому полушалку на ее голове, поцеловал в висок.

– Уйдем подальше!.. – прошептала она.

Небо было чистое. Полная луна сквозь черные ветки заливала заснеженную землю молочно-белым светом. Каждый шаг по снегу отдается скрипом. С каждым шагом все сокровеннее чащи саксаула. Деревья похожи на красавиц, распустивших волосы и подставивших белые плечи луне. Или на безмолвно танцующих дев с обнаженными бедрами. В дебрях саксауловой рощи ни дуновения. Вот и укромное место. За густой тенью раскидистого дерева – маленькие полянки, залитые лунным светом. На одной из них, крохотной, со всех сторон огороженной саксаулом, они и остановились.

– Ну-ка, покажи! – попросил Булыш, поворачивая к луне лицо женщины, взгляделся. Балкия зажмурилась, покорно подставила луне свое омытое слезами круглое личико. След от камчи шел наискосок через белый открытый лоб, захватывая левую часть лица, а второй, придясь на красивый, чуть коротковатый нос, тянулся к правому уголку маленького, с наперсток, рта.

– Хоть не до крови... Прочертил только. Ничего... Пройдет, – Булыш страстно, нетерпеливо стал осыпать поцелуями глаза и лицо молодой женщины, особенно те места, которых коснулась камча. Балкия, так и не открывая глаз, прильнула к нему, прижалась намертво.

– Мой герой... – шептала она, и ее горячее дыхание опаляло ему лицо. Их руки и тела встретились в тесном объятии; слившись воедино, стояли они под луной. Холодно, темные кроны саксаула со всех сторон, под ногами скрипучий снег.

– Чем же он попрекнул? Зачем побил?

– Ой, не надо... не вспоминай про него! – взмолилась Балкия.

– Может, отпустит тебя? Не сказал слово талак?¹

¹ По шариату достаточно трижды произнести слово *талак*, чтобы осуществить развод.

– А тебе что? Женишься? Через порог провести не можешь...

Смешался Булыш.

– Балым, – сказал он. – Не суди меня строго. Не допущу, чтобы ты была опозорена... Моя душа с тобой...

– Не нужно мне, чтобы вот так была она со мной! – Балкия отвела его руки.

– Что прикажешь делать? Мать мою ты же видела. Пойти против нее – против бога пойти. Четырех детей похоронила. Нет, наверное, никого, кто страдал бы больше ее от мук сиротства и вдовства. И все же она вырастила меня...

– Упрямая старуха, – Балкия смахнула слезы. – В чем моя вина?

– Балкия, самое верное в таких обстоятельствах – все перетерпеть...

– Т-ты... ты терпишь, а я... несчастная... перед всем аулом... – Балкия судорожно разрыдалась. Она упала бы, ноги подкосились, если бы сильные руки Булыша не подхватили ее вовремя. Держа ее на весу, снова стал целовать большие, полные слез прекрасные глаза.

– Булыш-ш мой! – выдохнула она в какой-то момент сквозь всхлипывания и, с безумным отчаянием повиснув у него на шее, опрокинулась навзничь. Оба повалились на сугроб. Как два огненных вала сошлись они, опалая своим желанием холодный, безразличный ко всему мир...

4

Хансулу вздремнула. Проснулась, почувствовав сбоку холодок, обнаружила, что Балкии, которая была рядом, нет. Ее место было пусто. Сон сразу улетучился, а сердце в груди гулко забилось. Вспомнилось, как Булыш обмолвился о чем-то с Балкией, уходя... Просторный мир в ее глазах разом сузился, стал с горсточку. Хансулу чтит Булыша как святого. Никому ведь рта не закроешь, длинные языки не укоротишь – не раз доходили до нее досужие вымыслы о связи Булыша и Балкии. После каждой такой сплетни Хансулу несколько охладевала к зятю. Но проходило время и, видя потом Булыша, как ни в чем не бывало отправляющегося на охоту в сопровождении белой гончей, она успокаивалась, забывая про услышанное, и опять откровенно любовалась его богатырским обликом. Им нельзя было не восхищаться. Он ей представлялся легендарным батыром Камбаром на черном белолобом коне...

Дверь бесшумно отворилась, и вошла Балкия. Шолпы звякнули в ее косах и смолкли, тихо ступая, она прокралась к постели. В темноте слышалось ее дыхание, она раздевалась. Хансулу осталась недвижна, притворяясь, что спит. Вместе с Балкией под теплое одеяло прополз холод. Запах снежной ночи, запах саксаульной коры, наконец, в ровном дыхании женщины уловила Хансулу запах Булыша. Только коснулась Балкия подушки головой, как тут же уснула. Спала она глубоко, спокойно...

Не успели утром в доме Булыша собрать дастархан, как объявился человек, кругленький и подвижный. С самого порога искусственно улыбался. Голос у гостя вкрадчивый. Это Жорга Курен, от Мажана он пришел. Как положено гостю, он прошествовал сразу на тор. Курен – дальний родственник Мажану. И еще – его правая рука. Понемногу в грамоте разумеет, живал в городе, свой взгляд на жизнь имеет. Поэтому он баю – первый советчик. Торговые дела Мажана в городе опять же он ведет. Благодаря этому и живет безбедно. Со всеми в обращении ласков – и

с друзьями, и с недругами; одинаково всем улыбается. Прозвище у него – Иноходец Курен.

– Слушай, женешетай¹, – начал гость, удобно устроившись на торе, глядя на Дау-апу. – Аулы наши, считай, рядом, а видимся раз в месяц, а то и в год. Как живете-благоденствуете? Как скотина? Как люди?

– Да слава богу, – бросила мать Булыша небрежно, взбалтывая поварешкой закипающее в казане молоко.

Не увидев расположенности с ее стороны, гость, так же притворно улыбаясь, повернулся к Булышу:

– Ну, Булышжан, нынче, говорят, сайгаков в песках полно. Слышали мы, ты метко стреляешь, и с коня камчой удачно бьешь.

Из Булыша каждое слово нужно вытягивать, а в разговорах с Куреном он попросту теряется. Дау-апа почувствовала состояние сына, с ходу отрубил:

– Ты, Жорга, не вилай, выкладывай, зачем пожаловал.

– О-ой, женеше, а ведь обидеться можно, а?.. Итак, по такому я к вам делу. Вчера моя капризная женге из дома Мажана изволила, говорят, в вашем ауле остановиться.

– И что, по-твоему? Мой дом – приют для сумасбродных баб, которые от мужей бегают, а?

– Ойбай, женеше, слушай...

Вот что он рассказал.

Вчера в ауле Мажана был совет, на котором солидные мужи во главе с Жорга Куреном имели с баем обстоятельный разговор: зачем, дескать, на молоденькой женился – если чых-то дурных наветов простить ей не можешь? По правде говоря, старик не хотел расставаться с Балкией. Только подстрекаемый детьми от старшей жены прогнал он красивую токал со двора, но сам-то мучительно переживал за случившееся. Сказать, верните токал, он не мог, самолюбие не позволяло. Потому-то он, в общем, обрадовался, когда Жорга Курен предложил ему свои услуги, беру, мол, на себя возвращение Балкии. Токал-то строптивя нравом, вот и подумал старик: если что и разжалобит ее, так только сладкая речь Курена...

Мажан как в воду глядел: уже где-то к полудню Жорга Курен, ведя Балкию, уже спускался к его юрте с песчаного увала между двумя аулами.

5

Родители Хансулу вплотную занялись приготовлениями к свадьбе: мать была поглощена приданым, день-деньской строчила на машинке; отец во второй половине зимы намеревался поехать на базар в Бескалу – по полкосяка жеребцов и верблюдов решил он сбыть там, чтобы на вырученные деньги приобрести у каракалпаков все необходимое для свадьбы, в том числе и юрту-отау для молодых.

После отъезда мужчин в Бескалу в ауле произошла еще одна история. С рассветом Верещага Шарип вышел как обычно с кумганом в руке из дому по нужде. Смотрит, а на месте Азбергенова дома, который стоял впритык к кухонной юрте Пахраддина, пусто. От юрты только черный круг остался. Вчера, значит, юрта была, а сегодня утром ее нет. Исчезла она. Откочевал, подлец. Убежал. Ша-

¹ Ласковое (от *женеше*) обращение к жене старшего родича.

рип, отвечающий перед властями за аул, застыл на месте, не веря глазам. Только тогда и опомнился, когда уронил кумган, полный воды. Вздрогнул.

– Ах, головорез! Ах, контра! Сделал-таки свое черное дело! Ну, погоди! – заверещал он и помчался что есть силы в сторону выгона. Дико озирался по сторонам. В предутренних потемках саксауловые кусты там и тут представлялись ему кочевьем Азбергена.

Весь аул поднял Шарип на ноги, а потом, вскочив на гнедого коня, куда то поскакал. Второпях сел на лошадь без седла, а потому, не доехав еще и до перевала, почувствовал боль, поскольку худой был. Вернулся, ведя коня на поводу. Растолкал спящего Шеге, отправил к главе волостного правления в Коксенгире. После обеда оттуда явился толстый Бухабай, милиционер с клинком. Тоже аул обскакал, по окрестностям пошарил, а потом сказал:

– Сами виноваты, в тот раз следовало его пристрелить, а теперь ушел в бега, стал бандитом!

Прошло еще несколько дней – и с юга задул теплый ветер, солнышко пригрело землю, снег местами разошелся, начал таять.

После майской прохлады начался окот. Для скотоводческого аула появление молодняка – самая суетная пора, когда, считай, все на ногах, только успевай принимать новорожденных! Как только овцы опростались и окрепли ножки ягнят, народ, перезимовавший в Саме, стал потихоньку сниматься с мест, взяв направление к летним пастбищам на далеких берегах реки Жем. Теперь это происходило не так спешно, как в начале зимы; двигались не друг за другом, не длинной унылой вереницей. Двигалось свободное кочевье, широко раскинувшее крыла по степи. И не торопились в страхе, как зимой. Кочевье перемещалось неторопливо, с толком используя на пути естественные уголья, давая возможность овцам с ягнятами рассыпаться по зелени, а лошадям да верблюдам выпасаться большими табунами.

Многослойное бляение ягнят и овец, сплетаясь с песнями пастухов, придавало живость и праздничность пестрому кочевью, перемещающемуся по зеленым долинам. Величественны плавно шагающие нары с поклажей. В ритм шагу позванивают медные колокольца. Все веселы – старухи, дети, сидящие в кошевах на верблюдах, молодки на лошадях, ведущие, скачущие по бокам джигиты и девушки. На лицах написано оживление, люди соскучились по радостям лета. Давала себя знать вековая страсть кочевников по привольной жизни на жайляу, играм и тоям, бурной деятельности. Впереди ждало долгое лето. Было где расправить плечи, разгуляться на просторе. Лето обещало веселье игр и тоев, красоту лунных ночей, шумные праздники.

А Хансулу не ждет, не зовет этого лета, первого в ее жизни, которое для нее тягостно. Всякий раз, слыша хохот придурковатого Козбагара, хмурится она. Бедняга Козбагар в лепешку расшибиться готов, лишь бы угодить Пахраддину, он занят только его делами. Однако Хансулу отнюдь не смягчалась к нему за это, напротив – ненавидела его сильнее и сильнее. Хансулу поклялась умереть, а за Козбагара замуж не выходить. Она, конечно, подчинится воле отца, однако ничто не заставит ее склонить голову перед этим недоумком...

Через неделю кочевье спустилось в долину Балга. Всю ночь до самого утра шел лунный, белый дождь. Гладь долины, заросшей полынью и ежевикой, омылась, зазеленела, стала похожа на пышный ковер. От свежего, ароматного воздуха дышалось свободно и легко. Караван оживился, овцы и козы разблеялись, ягнята

и козлята разверещались, верблюжата разыгрались, позванивая колокольцами, наслаждаясь привольем.

Этой красоты не замечала еще одна невеселая душа – Шеге. Он исхудал, почернел, сидел в седле сутулый, печальный. В самом хвосте каравана гонят они с отцом отарку в сорок голов.

Идет кочевье, позванивая колокольцами, делая ночами привалы, а днем давая возможность скотине попасть. Такая она, кочевая жизнь, всего в ней вперемешку – и радостей, и горестей, и шуток-прибауток. Дорога длинна. Это жизнь, завещанная предками. Привычный путь. С каждым днем выше трава, скоту и людям на радость. Кругом светлеют озера, на них видны серые утки, гуси. Лица у людей светлы и радостны.

...Через две недели шумное кочевье остановилось на летнем джайляу на южном берегу озера Тугискен. Почти месяц аулы были в пути со скотом, делая привалы по ночам, и теперь воспрянувшие духом люди ощущали себя так, будто большое странствие осталось навсегда позади.

Озеро – в центре обширной равнины, его южный пологий берег – густой зеленый луг с полынью, зверобоем. Здесь аул и решил заночевать. После обеда люди разгрузили поклажу, возвели остовы юрт, а к вечеру, когда солнце скрылось в своем гнезде за далекой сопкой Ханторткил, вырос на лугу аул, рядами выстроились юрты. В центре стояла большая, белая, как перевернутая пиала, юрта Пахраддина; по правую сторону от нее – белая юрта-отау Хансулу, та самая, которую отец для дочери привез из Бескалы.

Перед юртами уже устроены очаги, в них уже весело потрескивает огонь...

...В полдень Ждахай и Шеге, вспугивая на озере несчитанные стаи птиц, отстреливали уток в тамарисковых зарослях. Это была их первая встреча с глазу на глаз с тех пор, как аул осел на джайляу. Шеге стало не по себе, когда он увидел большой синяк на правом виске Ждахая.

– Это дело рук мажановских подонков, – передернул плечами Ждахай. – Из-за Балкии... Скажи, Шеге, это верно, что район приезжает? Баев, говорят, с корнем изничтожать будут.

– Не приезжает, а создается район, – поправил Ждахая Шеге. – Вместо уезда он. Уезд, говорят, ничего с баями поделывать не может, вот его и – тью-тью! Заместо него будет район. А с районом, я слышал, не шути; возьмут теперь баев за шкуру, хватит, мол, катались, как сыр в масле, целых десять лет, а теперь сверкайте пятками отседова!

– Вон оно как. Пора бы!... А то уже шея заболела выглядывать, где она, эта новая жизнь? Сдохнешь, пока эта новая жизнь придет.

– Это у нас только. А у других, говорят, давно новая жизнь, – заверил Шеге с видом сведущего человека.

– Послушай, – Ждахай подался вперед, – отец у тебя – власть. Может, знаешь, когда к нам айырпланы и машены¹ придут?

Шеге только усмехнулся:

– Скажешь тоже! Айырплан... чего захотел. Нам бы шайтан-арбу² сначала увидеть...

¹ Искаж.: аэропланы и машины.

² Шайтан-арба – велосипед.

– Эх, если б я был власть! – сокрушенно вздохнул Ждахай и повалился спиной на траву.

Шеге ехидно рассмеялся:

– И что б ты сделал, если б стал властью?

– Без шуток я. То бы и сделал – я бы этих баев тырс-тырс из ружья! Чтоб их отца!... Я бы не допустил, чтобы они до самого открытия района вот так прохлаждались!..

И про уток приятели забыли, и так увлеклись разговором, что не заметили Хансулу, которая приближалась со стороны аула на своем Каракере.

В уголках миндалевидных девичьих глаз блестели слезы. Только что к Пахраддину пожаловали уважаемые люди аула. Среди них были Верещага Шарип, длинный Уап, Дау-апа, Булыш. Из Жылыбулака прискакал Лабак-ахун на белом верблюде. Гостевая юрта Пахраддина заполнилась.

Мать знаком подозвала Хансулу.

– Сулутай, – сказала она, – ты бы проветрилась...

Мать была печальна, и девичье сердце почувало недоброе. Каракер, как всегда, беспокоился у привязи, взлетев на него, она поскакала сломя голову, сама не зная куда.

А следом и мальчишка на рыжем жеребце из аула помчался. Как вихрь, мимо озера пронесся.

– Эй, негодник, стой! – заорал Ждахай ему вслед, все так же валяясь на земле. – Давай сюда!

Мальчишке больших трудов стоило остановить разгорячившегося коня.

– Чего вам? – спросил он недовольно. Рыжий жеребец широко раздувал черные ноздри.

– Куда, чужак, летишь во всю прыть? Про это и скажи.

– На свадьбу звать! В следующую среду свадьба! Пахраддин дочку замуж выдает! – прокричал мальчик и хлестнул лошадь.

– Вот это да, парень! – воскликнул Ждахай. Вытаращив глаза, он растерянно смотрел то на Хансулу – она Каракера в озере поила, то на разом посеревшего Шеге. Приятель отчужденно уставился в землю.

– Что молчишь, чужак? Неужели Хансулу Козбагару достанется? Чтобы отца его!... Давай выкрадем ее! Согласится она, а? Любит она тебя? – Ждахай в возбуждении вскочил с места.

Сцепив зубы, молчал Шеге. По-прежнему не отрывал глаз от земли. В них закипали слезы. А вестник на рыжем жеребце, поднимая клубы пыли, помчался на восток по ковыльной равнине...

НЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО

1

До свадьбы оставались считанные дни, когда начался мусульманский праздник курбан-айт. Люди поднялись ни свет ни заря, в каждом загоне была выбрана и повязана подходящая жертвенная овца.

– Пусть айт будет в радость! – поздравляют люди друг друга, и в ответ слышится традиционное:

– Да сбудутся ваши слова!

Во всех домах двери открыты настежь, в юртах – богато накрытые дастарханы, они не будут убираться три дня. Люди настроены радушно. Все три дня пройдут в нескончаемом потоке поздравляющих. Кто войдет в дверь – тот и гость. Люди обряжены во все лучшее. Открыты сундуки, кебеже¹, на божий свет вытащены лучшие наряды, ткани, они выставлены на всеобщее обозрение. Жизнь людей на несколько дней преобразена многоцветным убранством юрты, похожим на богатое приданное байской дочери. Молодежь в приподнятом настроении. Никто не станет препятствовать им все эти дни проводить в играх, развлечениях, они могут гостить в соседних аулах, посещая любой дом, где курится дымок очага.

К полудню заклубилась пыль у реки Жем – и показался всадник. Это был посыльный от председателя волсовета. Взмывленный, мокрый от пены конь остановился перед юртой Шарипа. Аул мгновенно наполнился слухами: «Уполномоченный едет... сам начальник района...»

Не успел нарочный ускакать, как Шарип, маленький, на подгибающихся ножках, забегал из юрты в юрту, передавая приказ главы волостного правления:

– Уважаемые, наведите в домах порядок! Начальник района едет! Хочет своими глазами увидеть ваше житье-бытье. Готовьтесь как следует!..

– Вот тебе и на! Боже ты мой, к чему еще готовиться? – разворчалась Торка. – Как лето, так прут начальники, ровно сурки из нор!

– Эй! Не смей такое говорить! – закричал Шарип. – Те, кто едут, – с ними в шутки не поиграешь!

– Эй, люди, готовьтесь! Новый начальник едет! Какую захочет, такую дверь откроет! Где захочет, там и остановится!.. – бегая по аулу, всех переполошил Шарип.

У юрты Пахраддина он задержался:

– Эй, сват, и ты готовься! Едет начальник района. Кто знает, может у тебя решит остановиться... Другой приличной юрты, сам знаешь, в ауле нет.

– Е-е-е, что ж. Не беспокойся, сват, – сказал Пахраддин, и чтобы успокоить Шарипа, похлопал его по спине.

Хансулу дома не было. Ускакала с молодежью к Колькудыку на курбан-айт.

Гости приехали в самый полдень, они спешили на краю аула. Двое милиционеров с винтовками на спинах сопровождали их. Раньше людей поспели к ним разлаявшиеся собаки, но Шарип вовремя разогнал их палкой. Семена, подкатил к высокому русскому джигиту в кожаной кепке и сером кителе, устало и хмуро обозревавшему аул, и суетливо протянул руку.

– Здрасти!

– Здравствуйте! – густым баритоном откликнулся русский, опять же довольно прохладно.

Шарип слышал, что начальник – молодой русский джигит не из здешних мест. Шарипа тот, естественно, не знал и посмотрел на пожилого худого приехавшего с ним мужчину в очках, будто спрашивал у него: «Кто это?» Шарип знал приезжего, который в очках. Это был известный Апанас².

Апанаса Шарип знал. Апанаса еще во времена царя Миколая сослали сюда, в казахскую степь; в Темире до Советской власти учительствовал в школе,

¹ Кебеже – деревянный сундучок, войлочный короб.

² Афанасий Гринин – бывший ссыльный в Западном Казахстане.

а сейчас он – председатель райисполкома. По-казахски Апанас как на своем родном говорил. Похлопав Шарипа по спине, не замедлил представить его начальнику:

– Это и есть товарищ Каспаков! Если по-казахски, то – Шарип-ага.

– Да, Каспаков, Каспаков, – заискивающе заулыбался Шарип, кивая головой.

Хмурое лицо начальника разгладилось, он тоже кивнул. Апанас по-казахски поздравил Шарипа:

– С новосельем, Шарип-ага! – Он, конечно же, имел в виду прибытие аула на джайляу. – Пусть полнится радостью айт!

– Да сбудутся твои слова, Апанас! – растрогался Шарип.

С гостями были председатель волсовета Дукенбай Исмаилов, член волсовета Асан Айтжанов и два милиционера; один из них – здоровяк Бухабай, тот самый, который Азбергена под конвоем угонял, а второй – незнакомый Шарипу, жилистый, с темно-серым оттенком лица джигит.

– Жекей, – представил его Апанас.

В это время подоспели к гостям и люди аула во главе с Пахраддином. Апанас продолжил знакомство:

– Семен Харитонович, вот этот человек, – сказал он, указывая на Пахраддина, – всеми уважаемый Пахраддин мырза, о котором я вам по дороге рассказывал. А это... – он обратил теперь внимание собравшихся на главного гостя, – это – первый секретарь создаваемого районного комитета партии товарищ Калашников Семен Харитонович. Прошу любить и жаловать, как говорится. Вот – по аулам ездим. Семен Харитонович желает с жизнью края познакомиться, с деятельностью Советов на местах, в частности в аулах. Впервые он на казахской земле...

– О, добро пожаловать! Знакомьтесь! Будьте гостем! – ответил Пахраддин по-русски.

Калашников не без любопытства посмотрел на него, мырза производил впечатление: крупен, пропорционально сложен, широкоплеч, высокий лоб косо прикрыт дорогой, тонкой работы тубетейкой, красивая округло подстриженная борода и усы тронуты проседью, задумчивые глубокие глаза смотрят открыто.

– Пахраддин-мырза, вы владеете русским? – спросил Калашников.

– Хлеба по-русски попросить можем, товарищ секретарь, – сказал Пахраддин, подкручивая ус.

– Просим к столу! Пахраддин-мырза приготовил угощение для вас, – выскочил вперед Шарип.

Афанасий Васильевич перевел предложение Шарипа Калашникову, но тот пожелал сначала обойти аул. В какой бы дом ни заглядывал секретарь, повсюду его ждали выставленные напоказ по случаю праздника оригинальные местные поделки, тонко выделанные овечьи, волчьи, лисьи шкурки, женские украшения. На полу он видел узорчатые войлочные текеметы, горками возвышались сложенные на кроватях корпешки и подушки. Сияли всеми цветами радуги ковры. Возвышались лари из кости, по лицевой части украшенные резьбой. Ковровые ленты свисали с потолка. Шелковые занавеси на шнурах скрывали часть юрт. Гостей с поклоном встречали молодые женщины и девушки в красочных платьях, в расписных полушалках и платках – как степные цветы; женские руки, пальцы, уши унизаны браслетами, кольцами, серьгами...

Возле очага чисто. Дастархан был изобилен, в глаза бросились горки баурсаков, курта, иримщика, майсока, джента¹.

– А покажите-ка мне дом бедняка, – попросил Калашников.

– Но вы только что были в доме бедняка! – ответил Шарип. Они как раз выходили из дома Булыша.

– Сколько же у него скота?

– Ойбай, бедняк он, голый бедняк! Двадцать коз, три верблюда, если верблюжонка считать, одна лошадь.

– А сколько скота у мырзы?

– О, мырза когда-то состоятельный был! Сейчас скота поменьше. Государству на мясо сдал. Сейчас, считай, почти ничего.

– Хорошо. Сколько осталось?

– Овец около двухсот, лошадей – голов пятьдесят да верблюдов с десяток.

Калашников, слушая объяснения, наблюдал за встречными молодками и девушками, за их движениями и жестами, примечая, как они одеты.

Пахраддин сам распахнул дверцы своей юрты, приглашая гостей пройти. Бухабай-милиционер остался снаружи. Калашников, пройдя на тор, был поражен увиденным и не скрывал этого. Убранство недавних юрт, в которых он побывал, рядом с великолепием, которое открылось ему в доме мырзы, выглядело обстановкой бедной лачуги. Изумляла не столько роскошь, сколько вкус, угадывавшийся во всем, что его окружало, вкус тонкий, непритязательный и вместе с тем изысканный. «Откуда эта красота здесь, в глухомани?» – подумалось ему. Вспомнились напутственные слова Филиппа Исаевича Голощекина, первого секретаря Казкрайкома: «Район, куда вы направляетесь, – самый отсталый в степи. Глушь, куда Советская власть еще не добралась. С нуля начинать надо...»

Сырга-байбише, двигаясь мягко, женственно, налила из большой черной сабы гостям душистый, отливающий желтым кумыс². Круглый низенький столик в центре мгновенно заполнился несколькими большими чашами с ароматным напитком. Пахраддин в довершение ко всему торжественно водрузил на стол две «чекушки» водки.

Удобно восседая на мягком персидском ковре, гости смаковали кумыс.

– Чудесно! – произнес Калашников и качнул головой. На лбу у него выступили капельки пота. Кумыс он пробовал впервые. Пошутил, захмелев: – Всего у вас, Пахраддин-мырза, много – и достатка, и угощения, а женщин что-то не видно, а? Почему?

Апанас перевел это на казахский. Шарип, ухаживающий за гостем, – он передавал тостаганы с кумысом, – не выдержал, закатился мелким залиvistым смехом:

– Так мы к свадьбе готовимся! Не зря мы его, Пахраддина, «примерным мырзой» зовем? – Шарипа прорвало, его теперь не остановить: – Он дочь, собственную дочь, за батрака своего выдает, свадьба скоро. Мало того, без калыма отдает. Такой вот человек. Справедливый.

– В самом деле? Вашу дочь? – уставился на него Калашников.

– Да, мою дочь. Единственную, – Пахраддин опустил завлажневшие глаза.

– Занятно, – удивился Калашников. Покачал головой.

¹ Национальные угощения.

² Кумыс – напиток из кобыльего молока.

Худошавая Сырга-байбише, молча хлопотавшая по хозяйству, тихо опустилась на колени по правую сторону от кипящего самовара. Она достала из сундука новехонький русский фарфоровый сервиз, обтерла его шелковым полотенцем, поставила на стол. И скоро гости пили ароматный индийский чай, наливаемый в расписные фарфоровые чашки.

Главный гость внимательно за всем наблюдал.

Пахраддин в зеленом шелковом чапане, накинутом поверх белой рубашки сидевший по-турецки со скрещенными ногами, поднял голову, прямо взглянув на Калашникова, сказал:

– Наслышаны мы тут про политику правительства. Все понимаем. Лишний скот, лишнее добро правительство забирает. Всё – в общий котел. Пусть, положим, так будет. У меня лично возражений нет. Пусть берут, отдают беднякам. Но вот одно я до сих пор не понимаю, сколько ни думаю. В чем вина несчастных баев, чтобы подчистую отнимать у них и добро, и скот... а самих разорять и угонять с семьями?

Калашников, отодвинув к стене подушку, задумался и поднял голову.

– Знал я, что будет такой вопрос, – сказал он. – Не один вы, представители привелигированного класса, сильные мира сего про это спрашивают. У вашего народа есть пословица: «Скот принадлежит тому, кто его пасет, а вещи тому – кто их находит». Это слово народа. Политика партии сегодня направлена на то, чтобы народ эту мечту в жизнь претворил. Издревле батрак пасет байский скот. Партия считает, что батрак сам и должен быть хозяином того скота, который он пасет. Верно, Советская власть не погладит по головушке бая за то, что он батраков имеет. Потому как и бай не гладил по головке батрака, которого содержал, хотя тот и пас его скотину. Ведь власть у нас теперь – бедняцкая.

Пахраддин понял, что потерпел поражение:

– Нет, я не о том, товарищ... Я вовсе не против такой политики правительства. Наоборот, я присоединяюсь к ней. Сам, по своей воле, если власть сочтет это необходимым, готов отдать лишнее. Берите. Пожалуйста... Но меня и другое интересует. Положим, возьмут у нас, что причитается, а что потом? Как некоторых, по миру пустят, как кур общипанных? Вот мне про что хотелось бы узнать.

– Да не-е... – успокаивающе сказал Апанас. – Справедливо все будет. По закону. У тебя же другое дело, Пахраддин-мырза. Твои заслуги перед властью учтутся.

– Би-ага! – успокоил и Дукенбай. – Вы ведь и не считаетесь крупным баем. Вам ли бояться пустых слухов?

– За хлеб-соль спасибо! – поблагодарил Калашников, кланяясь Сырге-байбише, и быстро, по-военному, поднялся с места. Остальные повскакали тоже.

Серолицый милиционер Жекей вышел первым. Глядит, Бухабая на своем месте нет. «Что с ним?» – встретился Суржекей, зыркнув туда и сюда глазами, пошел за дом, а там Бухабай с двумя молодыми людьми о чем-то спорит. Один из парней, тот, что коренаст и плотен, порывается к юрте, а Бухабай своим мощным телом ему дорогу преграждает. Жекей незамедлительно оказался рядом.

– В чем дело? – спросил он сурово.

– Знакомые джигиты, вместе раньше пасли коз, – начал объяснять Бухабай, вытирая пот со лба. – Пристали, байскую дочь, мол, выручать надо, с начальством дай переговорить. Я им – нельзя, а они ни в какую...

– Табарыш милиса! – не выдержал Ждахай, обращаясь теперь к Жекею. Глаза, считай, из орбит выкатятся. – Мы боремся за справедливость! У нас заявление к начальнику!

– Эй, какой это начальник! Секретарь района! – гневно нахмурился Жекей. – А ну, идите отсюда! – и по-русски добавил: – Марш!

– Но у нас заявление! – потребовал и Шеге, в упор глядя на серолицего.

– Какое заявление?

– Пахраддин свою дочь замуж отдает... насильно.

– А вы кто такие?

– Бедняцкая молодежь.

– Вот и идите отсюда! Если насильно, пусть девица сама и жалуется! Марш! Жекей просто-напросто оттолкнул их.

– И побороться за справедливость нельзя! А где же Сабетски бласты?

– Марш! – гаркнул вне себя Жекей, и лицо его стало пепельно-серым.

Ждахай и Шеге невольно попятиться.

Гости тем временем, сев на лошадей, успели отъехать. Путь их лежал теперь в аул Мажана. Калашников, когда аул Пахраддина остался позади, сказал: «И в самом деле, здесь как будто ничего не произошло. Будто революция этот край обошла... Эх, сколько же дел впереди!.. Много дел...» – грустно покачал головой.

2

Много свадеб видела Хансулу. Но на такой безрадостной присутствовала впервые. И это была ее собственная свадьба. Все состояние, можно сказать, потратил отец на торжество, был не в меру расточителен. Более сотни юрт поставил по оба крыла от аула, около сотни овец прирезал; жырши, который спел «Той-бастар»¹ и тем возвестил о начале свадебной церемонии, скакуна подарил; около двухсот лошадей участвовали в байге, где главным призом стали два породистых верблюда-нара с огромными горбами. Богатыри-палуаны, состязавшиеся в борьбе, каждый получил по кобыле.

Но ничего Хансулу не трогало. Сидела за шелковым занавесом в юрте, отведенной для невесты, в окружении подружек и наблюдала за весельем, затопившим аул, через решетки кереге; грустные были у нее глаза, полны слез.

Привлекли ее внимание сказители. Поначалу она не хотела слушать выступление поэтов. Однако акыны собрались на ближнем от нее холмике, так что волей-неволей пришлось стать участницей событий. К вечеру холм и его подножие были устланы коврами. С появлением луны стал стекаться отовсюду народ. А через некоторое время, как живой дух, предстал перед всеми высокий, высохший, как саксаул, старец в белом чапане и белой чалме; борода и усы – тоже белые, в руках – домбра. Старик прошел на вершину холма, покрытую ковром и мягкими одеялами и присел на колени. Луна поливала холм молочным светом.

Когда народ разместился и не стало слышно шагов, Лабак-ахун взял в руки домбру. Тысячеустая толпа разом смолкла.

Ахун повел плечами, подался вперед, будто собрался лететь, это движение только подчеркнуло его сходство с лебедем. Миг – и полился из старческой гортани голос, глуховатый, надрывный, будто не пел ахун, а мерно говорил.

¹ Той бастар – ритуальный зачин тоя.

Старец между тем перешел к перечислению дастанов¹. Много их, очень много! Называй полюбившийся!

Замолчал ахун, прислушиваясь к людскому гулу, отпил чаю из пиалы перед собой. Гул не прекращался. Каждый выкрикивал свое желание, остановились, в конце концов, на дастане о сорока девушках². В этой степи мало кто его знал.

...Застонала, запричитала вместе с домброй Лабак-ахуна степная ширь, облитая мягким лунным светом. Побежала-покатилась безмолвная серебристая волна по верхушкам ковыля, ясенца, полыни... еще волна накатилась, еще... заволновалось море пахучих степных трав, зашелестел чий. Весь подлунный мир пришел в движение, тронутый гортанно-мелодичным голосом сказителя. Древний ритм шел из глубин веков... из эпохи скорби и плача.

Дрожали звезды на небе. Луна склонилась над самым аулом. Окутанный светлой дымкой, Млечный Путь тянулся в небе туманным следом. Загорочалась, завздыхала степь – она-то все помнит...

Много схожего уловила Хансулу в собственной судьбе и судьбе воительницы, вождя сорока девушек-воинов – бесстрашной Гулайым. Снова вихрем клонит, несет смятение в душу. И вновь слеза сорвалась с ресниц...

Белая юрта-отау Хансулу была поставлена рядом с домом Козбагара. Ее завели туда. Внутри юрты был сооружен паланкин с шелковой шторкой. Вечером был проведен религиозный обряд «неке-кию». Кайып-мулла «осветил» молитвой воду в чаше, которую жених и невеста должны были испить, выражая тем согласие на брак. Хансулу положенного глотка не сделала, лишь прикоснулась губами к чаше, пробормотала про себя: «Ни на этом, ни на том свете на брак не согласна... не согласна...» С тем и вернула чашу. Для себя Хансулу решила, что ее брак не освящен и не узаконен. Она слышала раньше, что если невеста не испьет из ритуальной чаши, брак не состоится.

Вечером, когда пришло время ложиться спать, девушки и молодки, которые были рядом с ней все эти четыре дня, мало-помалу разошлись, исчезла даже ее самая близкая подруга Балжан.

Канул в небытие шум-гам свадьбы. Хансулу осталась одна у супружеской постели за белым шелковым занавесом. Явь это или сон? Как ни странно, случившееся Хансулу воспринимала как шутку, злую шутку, которую сыграли с ней помешавшиеся рассудком люди во главе с ее отцом. Хансулу все время не покидало ощущение, что явится благоразумный человек и положит конец безумному представлению, скажет: «Прекратите! Расходитесь! А ты, Хансулу, идем со мной, я тебя к настоящему суженому отведу...» Сердце отказывалось верить происходящему, оно верило в мечту, в чудодейственную силу, которая ее спасет. Она жила этим ожиданием. И что же? Избавитель не пришел. На ее голове – белый жаулык. Она жена. Кому? Козбагару! Богом нареченному супругу. И сидит она в темной юрте в ожидании его же, мужа...

Ждать, впрочем, не пришлось. Зашептались перед дверью – давящиеся от смеха женские голоса, услышала:

– Ну, что ты, дурень, стоишь?

¹ Дастан – народный эпос в стихотворной форме.

² «Сорок девушек» – каракалпакский героический эпос.

– Входи, чтоб тебя!

Кого-то втолкнули. Этот «кто-то» застыл у самого порога. Торчал как вкопанный столб. Темно. Силуэт едва различим. Хансулу знала, что пришел Козбагар. Каков аппетит, а? Что же это – он считает себя ровней ей?! Ровня?! Он-то?! А все, считай, из-за него! Точно. Не возомни он себя женихом, та игра в «козла» так и осталась бы игрой. Игрой – и только.

– Кто тебя звал? – кипя негодованием, спросила она у сопящего в темноте Козбагара. Козбагар подался назад, толкнулся было в дверь, да та не поддалась – тетушки дружно подпирали ее, засмеялись, зашептали:

– К-куда, дурень? Твой это дом, слышь? Ни шагу теперь отсюда!

Беспомощность здоровяка – грудь-то вон с дверь – взбесила Хансулу.

– Что женился-то, раз бежишь? – бросила она зло.

Козбагар стал переминаться с ноги на ногу, прокашлялся. Прильнув к двери, взмолился:

– Да уйдите же... ради бога!

Женщины разом смолкли, а потом, посмеявшись, ушли.

– Хансулу! – Козбагар едва ворочал языком от робости. – Что мне делать?.. Ну что? Ну сказали, женись... ругали меня.

Хансулу сердито фыркнула, отвернулась к стене. Жени-их!..

Полог у стены вздернут, все вокруг хорошо просматривается. Поблескивает озеро, урчат лягушки. В тамарисковых зарослях на берегу плеснулась вода – лошадь, видно, забрела. Выпорхнули из кустов птицы, было слышно, как они хлопают крыльями. Повеяло прохладой – тоже с озера. Понесло запахом влажного прибрежного песка.

– Хансулу!

Девушка вздрогнула. Забыла, бедная, что тут Козбагар.

– Ух, что еще?

– Хансулу... я... ей-богу... не хотел тебя обидеть...

– Еще что?

– Л-люблю...

– Лучше бы не любил! Зато я тебя не люблю!

Козбагар засопел:

– Ну в чем я-то виноват перед тобой, Хансулу, а? – Помолчав, он разрыдался: – Знал я, что так вот будет. Давно знал. Но... все орали. Что теперь?..

И давай рыдать Козбагар – удержу нет! Широленные плечи сотрясались от всхлипываний.

К этому времени вышла луна, заглянула в юрту через открытые решетки кереге, стало светлее. Хансулу поднялась с постели, тонко зазвенела серьгами и шолпами. На ней – длинное белое шелковое платье. Увидев это, Козбагар очень обрадовался. Мать Торка, помнится, смягчалась, когда он плакал, подходила к нему, гладила по голове, приговаривала ласково. Вот и подумалось ему, что и Хансулу подойдет, по голове, быть может, погладит. Но не подошла Хансулу. Не погладила по голове. Только шолпы ее томительно звенели, звенели. Она ему одеяло и подушку на порог кинула.

– Постели себе!

Жестковат был тон, но для Козбагара он слаще меда. Не ждал он от Хансулу даже этих слов. Постелил у порога и лег. Не пустила его Хансулу к себе рядом – да

ничего, пусть обвыкнется сначала. Зато на подушке и одеяле – запах ее духов... В конце концов, ее рука касалась и этой подушки, и этого одеяла... Сердце стучало – бедный Козбагар в эту минуту готов был умереть за Хансулу...

Рядом с ним была она, горделивая красавица-жена, с тонко звенящими шолпами, ступающая мягко, белая, как луна, вот она за шелковым занавесом, колыхающимся от прохладного ветерка, и Козбагар ей за это благодарен. Не будь он в данную ночь женихом, ей-богу, во всю прыть понесся бы к озеру вот так – босой, раздетый; смеясь от избытка чувств, орал бы во все горло! Всему миру прокричал бы о своем счастье!..

Луна тихо зашла за облака. Аул в глубоком сне. На пыльном пустыре пережевывают жвачку возвышающиеся горами верблюды. Собаки давно уж угомонились. Только у озера жизнь еще заявляет о себе: стрекочут кузнечики, квакают лягушки, сонно вскрикивают птицы, плещется рыба. Все спокойно...

...Но кто-то таится в зарослях тамариска на берегу озера, держа под уздцы оседланных лошадей. Одна из лошадей – Азбергена... Как только аул погрузился в сон, он вышел из своего укрытия и стал тихо прокрадываться к высокой белой юрте Пахраддина. Огромные, с ишака, псы у входа проснулись было, но, признав Азбергена, завилили хвостами.

– Эй, кто там? – спросил Пахраддин, услышав скребок в дверь.

– Я, – сдавленным голосом ответил Азберген.

Пахраддин, набросив на себя чапан, открыл дверь. Сырга-байбише проснулась, хотела зажечь лампу – однако Азберген не позволил.

– Что ты здесь делаешь? – спросил Пахраддин, стараясь получше рассмотреть присевшего на край кошмы брата.

– На свадьбу, брат, пришел, хоть ты и не приглашал. С Сабетами сосватался, поздравляю! За тем и пришел, чтобы поздравить!.. – с ехидцей ответил Азберген.

– Что треплешь языком, полоумный? – рассердился Пахраддин. – В тюрьме бы давно сгнил, коли б не эта свадьба...

– Треплю языком? Ладно. Но только полоумный из нас двоих не я, брат, а ты! Дочь Сабетам отдал, скотину одну за другой – им же. Один ты пока в этом краю такой, с ума свихнувшийся. А вот другие погибают в борьбе. Ты же сдохнешь, угодничая, знаешь это? Посмотрим, как завтра эти Сабеты тебя отблагодарят... – ошетинился Азберген.

– Довольно! Старая песенка. Слышал. Где ты сейчас?

– Пока не скажу. Вести, брат, такие: Сабеты с треском падут! Англичане с одной стороны прут, с другой – тюрки. Лошадей мне надо.

– Э-э, боюсь, ты ошибаешься, милоч. И крепко. Так что лошадей не будет.

– Пусть как собаки мы друг другу сейчас, но из одного чрева вышли. А то одной пулей бы тебя уложил! – Азберген вскочил, метнулся к двери. Переступая порог, приостановился, хотел, видно, что-то сказать, но, раздумав, хлопнул дверью и ушел.

...Сон у Козбагара крепкий. Не почувствовал ничего: ни того, как в дверь постучали, ни того, как Хансулу петлю откинула, ни того, как вошел в юрту Азберген. Только когда кто-то, свинцово тяжелый, взгромоздился на него и схватил за глотку, он проснулся, очумело захлопал глазами. Дернулся было, да куда?

Не шелохнуться. «Оборотень», – подумал спросонья. Темно в юрте, ничего не разглядишь. Но очень скоро начал он в «оборотне» признавать Азбергена. Еще он заметил – в глубине юрты металась Хансулу, что-то собирая в узел.

– Узнал? – рыкнул Азберген, заросший черной бородой. – Пикнешь – вот нож, прирежу на месте, щенок!.. Где лошади Пахраддина? – Он сжал глотку Козбагару так, что тот захрипел. Отпустил немного: – Ну!

– В Тугискене... с восточной стороны... – пролепетал Козбагар.

– Не врешь? – Азберген опять сжал горло. Круглая, как чаша, физиономия Козбагара побагровела. Закашлявшись, он замотал головой.

– Слушай, щенок! Пока я жив, Хансулу для тебя – нет! Видал?

Азберген опять покрутил ножом перед его носом. Острое лезвие ослепило Козбагара, и он закивал подбородком.

– Аэке, не убивайте! Все исполню... что велите!

– Дай Хансулу талак!

– Что-что? – не понял сразу Козбагар, что речь идет о разводе.

– Талак, скажи, отца твоего...

– Но как же так?..

– Говори, щенок, а не то...

– Талак, ойбай, талак! – зачистил Козбагар, глотая слезы.

Азберген засунул ему в рот полотенце, связал руки и ноги. Напоследок пнул от души в зад. Пока Козбагар, опрокинувшийся к ним спиной, лил беззвучно слезы, Азберген с Хансулу перевернули все в доме, возясь с узлами. Потом они ушли. Козбагар боялся пошевелиться. Так и пролежал до рассвета.

Утром повалил из домов народ – стал тундики юрт открывать. Стоявшие у привязи верблюдицы начали потихоньку реветь. А вот у молодоженов было тихо. Торка поковыляла невестку будить.

– Келин, а келин! – позвала она сноху.

Ответа не последовало. Тогда старуха заглянула внутрь. Сын, посиневший, с кляпом во рту, связанный по рукам и ногам, валялся на полу у порога, а за занавесом – о боже! – пустая супружеская постель молодых. Не было келин на месте!

– Ойбай! Враг напал! Украли! – и маленькая старуха с истошным воплем понеслась куда глаза глядят.

– Астапыралла! Что там еще спозаранок? – насторожились люди.

– Будь прокляты они! Украли! Враг напал, ой-бай!

– Какой враг, мать?

– Ойбай, мальчик мой там связанный! Ойбай, живой или мертвый, не знаю! Ойбай, келин нету! Это что – не враг, по-вашему?

Все в испуге бросились к юрте. Первым вошел Шеге. Занавес был откинут. Постель разобрана. Хансулу нет. На полу лежал связанный Козбагар. Стонет. Живой, стало быть.

Как только Козбагара развязали, он, захлебываясь слезами, поведал о ночном происшествии. Торка, не выдержав, обняла его:

– Ох, и слезы твои!.. Не плачь! Пропали все... И баба эта пропала! Сам зато живой! – а потом, обняв голову сына, запричитала. – Проклятие твоему роду, бандит! Радовались мы, что пропал ты с глаз, вражина! А ты, выходит, рыскаешь тут рядом волком голодным. У-у, отродье!..

Шарипа в ауле не было. Уехал вчера на собрание в новый район. Булыш мог бы погоню устроить, он один в ауле на это способен. Но и его нет. На охоте он. Потолкались люди у юрты, да так и разошлись, ничего не предприняв.

– Свой, выходит, дядя и украл, – утешили они Торку. – Не горюй. Побушует – отойдет. Привезет племянницу. Что ему с ней делать?!

3

Лето выдалось жаркое. Стоило солнцу выглянуть, как горизонт окутывался маревом. Ввинчиваясь в небеса, собирая песок и пыль, пробегали по равнине смерчи.

В один из таких дней, в самый полдень, показался со стороны речки Жем Шарип на своем куцехвостом гнедом. Под бориком¹ – огромный белый платок, накрывающий с головой. Сидел в седле неуверенно, как сова на суку. Вялая кляча под ним кое-как ноги переставляла.

– Алакай, коке! Коке! – распищались пять девчонок Шарипа, завидев отца, и побежали навстречу.

Шарип, неизвестно почему, был молчалив. Взял на лошадь младшенькую дочь, ласково прижался к нежненькому личику. Что-то дал ей. Конфет, наверное.

Пахраддин, наблюдавший за ним из собственной юрты, отметил: «Что-то, видно, случилось у бедолаги».

Не успел Шарип и поест с дороги, как аул облетела весть: «Верещагу Шарипа сняли!»

– Ойбай, молодка, слышала – кайнагу² сняли!

– Котек³, что значит – «сняли?»

– Ойбай, он больше не аулнай!

– Замолчи, глупая! Что стряслось, в самом деле?

Хмурый, неразговорчивый Шарип сразу же завалился спать. Домашним сказал, что голова сильно болит. Встал он только к вечернему чаю.

– Сношенька-то наша, Хансулу, сбежала, – сказала Жайбаскан, мало-помалу приступая к аульным новостям.

Шарип, пригубивший чашку, – замер, уставился круглыми глазами на жену:

– Что значит – сбежала?

– Ну как? Азберген выкрал.

– Поделом! – выдохнул Шарип, и его рыжие усы встопорщились. Словно подтверждая поговорку «Бедовая баба – груз для сорока ишаков», свадьба Хансулу обернулась головной болью для главы аулсовета. В район его вызвали на разнос по поводу чрезмерного количества скота, зарезанного по случаю тоя.

После двух-трех глотков чая у Шарипа, полулежавшего на подушках, выступили капли пота на лбу.

В это время послышался голос старухи Торки, шедшей к юрте брата, она, как обычно, бушевала:

– Погоди, бандит, богом проклятый! Уж я-то позабочусь, чтоб тебя упекли за снежные горы! Пусть иначе имя мое сгинет!

¹ Борик – шапка, отороченная мехом.

² Кайнага – деверь, старший родич мужа.

³ Котек – возглас испуга, удивления, который могут произносить только замужние женщины.

Прихрамывая, она переступила порог. Появление старшей сестры было некстати, оно не понравилось Шарипу.

– Эй, – накинулась она на красного, потного от чая Шарипа. – Этот бандит доконал! Если правда, что ты бласты, доставь его, бандита, ко мне, по рукам и ногам связанного!

С этими словами она замолотила костлявыми кулачками по земле. Шарип, будто оглох, не отрывая глаз от кулачков, молотивших шкуру, продолжал прихлебывать чай. Решив, что Торка успокоилась, стал шарить по карманам, ища что-то. Обе женщины уставились на него немигающими глазами. Через некоторое время он достал донельзя мятую тряпку, бросил ее сестре. Это оказался простой мешочек, в котором он раньше хранил печать, ту самую, круглую, со стопу верблюжонка.

– Котек, а где сама печать?! – воскликнула старуха Торка.

– Где печать?

– И верно, где печать? – переспросил Шарип издевательски.

– Эй, если хозяин печати не знает, где она, нам почем знать? – подала голос Жайбаскан.

– Надо знать. Плохо, что не знаете, – и Шарип, прикусив сахар, шумно потянул чай. Всем видом он давал понять, что разговор окончен.

– Э, вдарил, значит, боженька, прямо по макушке, – заключила Торка. Ни злости, ни осуждения в ее голосе не было.

Тяжело поднявшись, побрела она к порогу, еще сильнее припадая на ногу. Молча скрылась за дверью.

4

Сбылось предсказание Пахраддина – случилось то, чего Шарип больше всего боялся: освободили его от должности председателя аулсовета. Поставили ему в вину, что с баем якшается, в родственную связь с ним вступил, и что, будучи аулнаем, дал ход беспорядкам в ауле – позволил порезать много скотины для свадьбы.

Пахраддин совершал утренний намаз, когда рядом с юртой, почти у самых стен, простучали конские копыта. Он повел глазами в сторону шума: кто это, дескать, проявляет неуважение, у самой юрты на коне резвится?

Сырга тихо выскользнула из юрты.

– Би-ага мне нужен! – крикнули снаружи. – Прказ¹ из района!

Пахраддин, собрав жайнамаз², встал, раздраженный. Привычный ритуал нарушился.

– Тебя просят, – сказала Сырга, появившись. – Старший сын Жорга Курена. Ждахай.

– Что ж он в дом-то не пройдет, как люди?

– Занятый человек. Сумка на шее...

Накинув чапан на плечи, Пахраддин вышел, а там на рыжем жеребце – полноватый малый с круглыми совиными глазами на рябом лице. Пожирает, можно сказать, бия начальственным взглядом.

– Ассалаумалейкум, би-ага! Прказ из района! С вас налог!

– Говори!

¹ Искаж.: приказ.

² Жайнамаз – молитвенный коврик.

– Сто двадцать килограммов шерсти, шестьдесят – сливочного масла, восемьдесят бараньих шкур. Срок... – Слово «срок» Ждахай произнес по-русски. – Одна неделя.

– Кто будешь-то теперь?

– Агент по сбору налогов! – Юноша приосанился. – Вместо Килыбая. В положенное время не сдадите – запомните, в КПУ ваше дело рассматриваться будет!

Пахраддину не понравилась нахрапистость юноши.

– Сын Жорги, эй, ты давай не кричи! – осадил он его. – Не глухие мы. Слышали. Не КПУ, а ГПУ говорить надо. Сумку, гляди, не потеряй!

– А вы зря сердитесь, би-ага! – понеслось ему вслед. – Ваши дела рядом с Жарасбаем, Улманом, Мажаном – раз плюнуть! Уж если кто и погибает, так это они! Ха-ха-ха!..

Ждахай испугнул всех аульных собак.

5

Пахраддин еще выплачивал налог, когда объявилась Красная юрта. Ее поставили в ауле Мажана, и с того дня, считай, не прекращалось там веселье: каждый день музыка, молодежные гулянья. Хозяином юрты был Асан Айтжанов, большевик, который некогда ставил Шарипа аулнаем. Он и тогда, в свой первый приезд, игнорируя Пахраддина и Мажана, только по беднякам и ходил, словно показывая аулчанам, какой он убежденный большевик. И сейчас такую же политику продолжал. На первом же собрании, говорит, заявил, что первой задачей Советов на пути к новой жизни является «избавление аулов от баев и мулл», которые, дескать, противники всего нового. Кто-то, говорят, из собравшихся спросил тогда:

– Баев и мулл уничтожим, хорошо, а дальше что?

– Дальше? Конфискованное байское имущество и скотину между бедняками поделим. В товарищества объединимся. Одной семьей заживем. Землю вспашем, сеять будем. Дома понастроим, потому как на земле осядем, кочевать не будем. Учиться начнем, знаний набираться. В больших городах будем жить. Так достигнем цветущей новой жизни, новой культуры...

Вот такую райскую жизнь в одночасье построил Асан Айтжанов. Радостно возбужденная молодежь хлопала в ладоши, – а вот кузнец – длинный Уап, пастух Каукаш и табунщик Жанбырбай почему-то остались недовольными.

– Послушай, браток, – сказали они, вставая втроем. – Зачем мы тебе, старые? Нам ли в земле ковыряться, когда и до могилы недолго? Мы уж как-нибудь дедовским ремеслом прокормимся, скотину попасем, покочуем малость. Город твой не для нас. Мы вот в плохонькой юрте родились, дай нам там и помереть. Не тащи нас в свой город...

Ждахай, говорят, выкрикнул:

– Кто хочет, пусть подышает в юрте, а мы в городах жить будем!

И молодые, говорят, его бурно поддержали. Асан-большевик сделал старикам замечание:

– Бросьте, аксакалы, назад пятиться! Будущее за молодежью.

В конце собрания он громко стихи произнес – вроде как лозунг в толпу бросил:

Бедняки и батраки,

Вперед идите!

Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните!

Эти стихи молодые в тот же миг наизусть выучили. И пошло с того дня: каждый сопляк их в ауле долдонит, в кости дети играют или еще во что – на устах у них эти строчки. До утра, считай, с куплетом этим носятся.

В окрестных аулах прознали про песенку. Пастухи и батраки и даже бабы-доярки – домашними ли делами заняты они, или трудятся в степи – гундосятся теперь себе под нос:

Бедняки и батраки,
Вперед идите...

Погрустнели старики и старухи, мол: «О, создатель, оказывается, мы многое еще не видели в своей жизни».

Многое слышит и о многом размышляет Пахраддин. Такой ход событий он предвидел давно. В 1918 году были арестованы крупные казахские баи. Подумал тогда Пахраддин: «То, что случилось с быком, ждет и теленка».

...Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
камчой гоните!

...Полог юрты был откинут, из-за решеток кереге Пахраддин долго смотрел на степь, простирившуюся далеко-далеко, унылую, бескровную; в глазах застыли слезы. Взвихрившийся смерч метнулся в одну сторону, в другую, потом понесся к туманному горизонту, плавающемуся в мареве. Откуда он, этот вихрь? Куда несется? Бесмысленное бытие. Не он ли, Пахраддин, как и этот вихрь, гоним ветром? Не зная, что с землёй, на которой некогда он чувствовал себя хозяином? Что с людьми, на которых некогда он мог положиться? Словно степную траву – перекасти-поле, вырванную с корнями, несет его ветер по степи. Одному богу известно, в какую яму занесет его поднывающаяся буря...

– Сокол мой, – тихо произнесла Сырга прямо за спиной. Погруженный в свои мысли, он забыл про нее, преданную Сыргу.

– Ау! – откликнулся он. Голос дрогнул. Не обернулся. Постеснялся слез.

Всю жизнь Сырга, верная супруга, угадывала его состояние по одному, как говорится, движению бровей, и сейчас свою чуткость проявила – неназойливо, деликатно. «Сокол мой...» Только он, Пахраддин, мог понять такое ее обращение, в котором слились и любовь, и сострадание, и боязнь за него. Понимала Сырга, каково Пахрадину сейчас, неприкаянно одинокому среди множества людей. Бесценная подруга Сырга! Отрада жизни – Сырга! Старшие братья – ушли. Младший брат – ушел. Дочь – ушла. Не ушла только его любовь, супруга – Сырга... Ступая тихо, почти неслышно, она подошла, присела рядом и положила голову ему на плечо. Ее нежные пальцы, утешая, гладили по спине:

– И я, глядя на тебя, расстроилась. Не надо, не изводи себя. Переживем как-нибудь все, что судьбой назначено, – обняв его, она припала лбом к его широкой спине.

Пустынное одиночество, в котором заплутала его душа, исчезло, Пахраддин нашел то, чего жаждал более всего – тепло чуткой, любимой жены. Они встретились в объятиях, душа, истосковавшаяся по жару любви, растаяла в супружеских

ласках. Прижавшись лицом к омытому слезами красивому лицу жены, он вдруг зарыдал.

– Что с тобой? Прекрати! – испугалась Сырга.

Пахраддин никогда никому не показывал своей слабости. А теперь его могучие плечи дрожали, как осока на озере под волной. Немногословна была Сырга, но уж если заговорит – заорожит милым серебряным голоском, так была воспитана она. Добротой и нежностью она и покоряла человека. И сейчас – покорила. Ее умиротворенное лицо светилось нежностью, она утешала мужа, словно малого ребенка. Пахраддин лежал на спине, крылья его крупного носа дрогнули. Он улыбнулся, будто что-то вспомнил.

– А ведь народ – дурак, – сказал он. – Скот у Пахраддина пересчитывает – бай он... не бай. Вот же непонятливые! Ведь того не уразумеют, что все его состояние – в юрте, это его байбише.

Лицо жены с правильными, мелкими чертами осветилось улыбкой, черные глаза лукаво блеснули, белые, как снег, зубы обнажились, щеки зарделись румянцем. Она склонилась над мужем, тихо рассмеялась.

– Гляди, – сказала, – услышит кто – конфискуют твою байбише...

6

Нынешнее лето было особенным. Не такое оно, к какому народ привык. Когда-то лето было долгим, тянулось, словно сок молочая. А теперь только рассвело, не успеешь глазом моргнуть – а уже вечер. Стало много разговоров, за ними не замечаешь, как день пролетает. Всюду активисты носятся туда-сюда, поднимая пыль, молодые да отчаянные. Кое-кто из них комсомольцем себя называет. Степной народ-то не знает, что это такое, смотрит на них настороженно.

Шеге, Ждахай, Козбагар, Балжан и другие молодые, те, что вечера в Красной юрте проводят, что всегда рядом с большевиком Асаном Айтжановым, тоже в один прекрасный день стали комсомольцами. Торка по случаю того, что ее Козбагар – «комсомол», прихрамывая, все юрты в ауле обошла, сообщая новость. При этом она веско приговаривала:

– Пропадите пропадом! Вот вам! Не шутите с батраками!

Так молодые люди обрели вес. Идет, скажем, тот же Козбагар, теперь уже не батрак, а «комсомол», так «осколки старого мира», наподобие Пахраддина, пугливо дорогу ему уступают. А поют-то комсомольцы вот что:

Ты, батрак, был бос и сир,
А сегодня твой он, мир.
Если вспашешь землю, знай,
Заживешь, как тот же бай...

МО, всемогущий бог! – удивленно поцокивают языками старушки. – Довелось нам и молитву нового времени услышать...»

Заведующий Красной юртой большевик Асан близко сошелся с молодыми – так, что теперь те без него ни шагу. Все-то он, Асан Айтжанов, знает, все перевидел: в шестнадцатом году окопы рыл, в русско-германской войне участвовал, в неслыханных городах был – Москве, Петрограде. Под влиянием Асана Шеге как-то сам впервые выступил на собрании. Вот как он начал свою речь:

– Пришло время, когда старое под корень надо рубить! Без этого мы и шагу вперед, к новой жизни, не сделаем! Прошлое опутало нас по ногам!

– Котек! – не выдержала языкастая молодуха. – Глядите-ка, еще один Асан выискался!

Хохоту было! А потом подремывавший на собрании милиционер Бухабай поднялся, выпятив второй подбородок, сонным голосом зачитал список «табарышей», у которых имелись ружья; всех перечислил, никого не забыл. Раз уж речь о ружьях зашла, люди перестали смеяться, начали переглядываться, а Бухабай – уже без бумажки холодно пояснил:

– Приказ из центра – ружья сдать! Такой порядок!

Строгость на себя напустил – проспался, видно. Сообщение, что надо сдавать ружья, ни у кого энтузиазма не вызвало.

Однако в тот же день люди, вздыхая, мол, не станешь же враждовать с правительством из-за одного ружья, принесли в Красную юрту оружие и сдали. Не принесли оружие только три сына Мажана и Булыш.

– Не можем отдать оружие, – буркнул Булыш Бухабаю, когда тот явился к нему домой. Охотник обминал сильными руками шкуру попавшего вчера в капкан молодого волка, большая была шкура, в полтора обхвата.

– Булыш-ага, порядок требует, – начал было объяснять Бухабай.

Но Булыш, темнея лицом, перебил его:

– Ничего против порядка не имею. Но все знают, что я – охотник. Ружье, которое меня кормит, я, повторяю, никому не отдам. Так же, как и коня под собой, и гончую, которая помогает в охоте.

– Но, Булыш-ага, порядок требует...

– Эй, сын Игенсарта, – забасила из юрты Дау-апа. – Чтоб ты провалился со своим порядком. Какой это порядок, когда у охотника ружье дозволено отбирать?! Не будет тебе ружья! Так и скажи где надо – Дау-апа не дает. Пусть голову мне срубят, коли могут, а ружья им не видать!

На том и закончился разговор. Бухабай, не проронив более ни слова, молча сел на коня и поехал со двора. Не один Бухабай, вся округа знала, что значит иметь дело с матерью Булыша – Дау-апой. Рассказывали, в молодости она наравне с мужчинами участвовала в походах. Запрячет косы под шапку – и в атаку на врага! Из воинственного подрода кунанорыс, что в роду адай, происходила она. За отца Булыша – охотника Аршу – вышла против воли братьев, сбежала с ним. В 1916 году взяли Аршу в солдаты, а потом он пропал без вести. На долю молодой матери с малолетними детьми выпал голодный 1921 год. Двое сыновей – тринадцати и двенадцати лет – умерли в тот год от оспы. Оставшаяся без скота после мора, Дау-апа отправилась вместе со старшим сыном Булышем в поисках ремесла в долину Ой¹. По пути пристала к торговому каравану. На базаре в Коньрате повстречалась с туркменским баем и нанялась к нему в погонщики верблюдов. Звали бая Пиримкул. Обещал он Дау-апе за работу по верблюду в год. Два года мать с сыном пасли байских верблюдов, а потом решили вернуться на родину и попросили у бая расчет. Тот выбрал им в табуне паршивого годовалого верблюжонка и старую облезлую верблюдицу. Как вдове и неокрепшему юнцу оспаривать оплату бая? Водрузили кое-как они свой жалкий скарб на верблюжонка, а сами на верблюдицу взобрались и отправились восвояси, проклиная скаредного бая. После дня пути поднялись на Устюрт. За Устюртом – безграничная казахская степь. Остановилась тут Дау-апа, что-то, видать, задумала. Опустила верблюдов на колени, велела сыну

¹ Низовья Амударьи.

сгружать поклажу. Булыш удивился – что, дескать, мать на голом каменистом плато нашла? А она ему и говорит:

– Сын мой, не думай, что сдвинулся с места, пока не посчитаюсь со скупердяем! Лучше подохнуть тут, чем на паршивом верблюде возвращаться! Ступай и воздай проклятому Пиримкулу за то, что он нам дал. Забери двух отборных наров в табуне и пригони сюда, если ты мне сын!

Булыш, не сказав ни слова, взял ружье, запрыгнул на облезлого верблюжонка и затрусил назад. После полуночи, как велела мать, пригнал отважный джигит двух здоровенных наров с горбами в сундук. Тогда, говорят, и сказала Дау-апа, повеселев:

– Барекельды¹, вот теперь, сынок, можно ехать!

Эта история, как свидетельство одного из многих подвигов храброй Дау-апы, переросла в легенду. Знал эту легенду и милиционер Бухабай, потому не стал пререкаться с Дау-апой. Но в центре списка граждан, уклонившихся от сдачи оружия государству, согласно решению Ханторткилского аулсовета, крупными буквами значилось теперь и имя Булыша Аршаулы.

7

Начало осени ознаменовалось еще одним великим потрясением, имя которому – «конфискация», а на языке степняков – «кампеске». Шла она с Басоймаута, Ортаоймаута, Сарыбая, Донызтау и скоро должна была прийти в многолюдные Ханторткил и Тугискен. Слухи опережали один другой; якобы, в один день конфисковали имущество Жарасбая, Тегинберды, в другой день разорили Байтака, Улмана, Кулмана. Подробности слухов были ужасающими: рассказывали, что солдаты отнимают все, вплоть до последней нитки, и баев арестовывают и ссылают в город Темир.

Был закатный час одного из таких дней, когда на землю легли длинные тени. Напуганные тревожными вестями, люди аула Пахраддина томились в своих домах, когда послышался конский топот. Приговаривая «астапыралла»², люди хлынули наружу. Из аула Мажана мчался всадник. Какую весть он им несет? Конник с криком ворвался в возбужденный аул, это был Ждахай.

– Эге-ей, люди, слушайте меня! – прокричал он с ходу. – Все как один туда давайте! – и махнул рукой в сторону мажановского аула. – Кампеске будет! Мажан кампеске будет! Кам-пес-ке-е! Все на митын!

– Чтоб скулы тебе свело! Что такое митын?!

– Бес за ним гонится, что ли, несется, как ошалелый! – аульные женщины в сердцах начали проклинать Ждахая. Однако «кампеске» было такое страшное и непонятное слово, что людей невольно повлекло в аул Мажана, всем хотелось посмотреть, как это происходит. Кто на лошадях, кто пешком, мужчины и женщины, старики и старухи и даже дети повалили в сторону аула Мажана, который был на расстоянии одной скачки жеребенка-трехлетки. И Пахраддин на своем вороном со звездочкой во лбу жеребце тоже поехал за людьми.

Аул Мажана привольно раскинулся на протяженном пологом увале. Здесь царил суматоха большого базара. На окраине, у Красной юрты с красным флагом наверху, толпилась тьма народу, люди кишели, как муравьи в муравейнике...

¹ Барекельды – возглас одобрения.

² Астапыралла. – Господи, помилуй.

Вереницей выстроились подводы с впряженными в них лошадьми. Перед аулом чернело множество скота; пыль зависла над отарами овец, косяками лошадей и верблюдов. Всюду конники, машущие плетьюми. Лай собак, бляение овец, ржание лошадей – все звуки слились в мощный гул. Словно увидев огненный вал, Пахраддин невольно содрогнулся. Слышал он, что крутые меры, принимаемые Советской властью, касаются лишь тех баев, у которых количество крупного рогатого скота превышает цифру 300. Сам он что-то продал, что-то зарезал, теперь у него во дворе с десяток верблюдов да овец с сотню, с таким поголовьем он надеялся избежать конфискации.

Когда народ подошел, на одну из телег забрался большевик Асан Айтжанов. Он зачитал декрет КазЦИКа о конфискации байского имущества. Пока Асан читал декрет, группа людей поднялась на телегу. Среди них новый председатель аулсовета Жорга Курен. Улыбаясь, он вышел вперед. Конечно, он не Шарип, вполне соответствует должности аулная – и речь у него внятная, и голос мягкий.

– Товарищи! – сказал он. – Мы сегодня предоставим слово товарищу Кошекбаеву Каукашу, батраку, который всю жизнь свою провел на пороге бая Мажана Утешева, нашего классового врага!

– Табарыш Кошекбаев? Кто это? – не поняли сначала в толпе.

Кто-то хохотнул:

– Каукаш?!

И тут же посыпалось:

– Ау, табарыш Кошекбаев, где ты?

– Эй, чтоб тебе пропасть, выходи!

– Говори, раз просят! И твой час пришел!

Черненький неказистый коротышка в толпе передал повод верблюда соседу и засеменял к арбе, на ходу прижимая к голове старую шапчонку, из которой ключьями лезла вата. Смешки не утихали. Подойдя к арбе, Каукаш остановился, повернулся к народу. Опять прижал борик и осклабился.

– Товарищ, на арбу, на арбу! Пусть народ вас видит! – предложили ему.

Взбирался, карабкался Каукаш, никак не мог залезть, и Асан ему помог. Очутившись на одной высоте с начальством, Каукаш оробел и съежился, как старая высохшая шкура. Но глянув на толпу, выжидательно замершую, по-свойски ухмыльнулся. Остряки не унимались:

– Ойхо-ой, пришло время Каукаша...

– О-о, с Каукашем не шутите!..

Асан участливо глянул на молчаливого оратора:

– Ну, товарищ! Твое слово – слово народа. Как ты смотришь на декрет КазЦИКа? Про это и скажи.

– Давай, Каукаш, скажи свое слово! Не жалея, – подал клич Шарип. Каукаш потер плечо, растерянно затоптался, поднося шапку то к голове, то к плечу.

– Эй, оставь несчастный борик! Итак весь разлезся на клочки, – крикнул длинный Уап из задних рядов.

– Ай, чтоб пронесло тебя, Каукаш! Убери свою шапку, – заверещал Шарип.

– Кха-кха! – сипло прокашлялся Каукаш. – Сказали, выступать будешь... кха-кха... хотел шапку вчера залатать... кха... пошел к байбише Мажана...

– Пропала бы и шапка твоя, и ты вместе с ней! Дальше не говори, и так все понятно, – вскипел Шарип.

– Нет! Нет! Пусть говорит!

– Говори, товарищ Кошекбаев, – подбодрил его Асан Айтжанов.

– ...пошел, а Жамал-байбише... кха-кха... в сундуке роется. Сказал ей, зачем ниток мне надо... кха-кха... Попросил я, значит, ниток, а байбише – дай, говорит, шапку. Дал я. А она взяла да и швырнула шапку через порог.

– Пропади пропадом твоя шапка! Будь ты проклят, Каукаш. Не увиливай, говори про канпеске. Скажи, поддерживаешь ты политику правительства или нет! – завопил Шарип.

– Согласен... с канпеске... что там говорить... Только... только... кха-кха... завтра бай Мажан вернуться ведь может... кха-кха... Как бы он потом... Ой, пропади она, байская скотина, намаялся я с ней. Мне бы теперь с десятков овецек... своих... кха-кха!

–Товарищ Кошекбаев, минуточку! – оборвал батрака Айтжанов. – Ты напрасно боишься. Не надо народ пугать. Решит собрание, что надо бая со всем его семейством гнать отсюда в три шеи – прогоним! И больше вы его не увидите! Ты, товарищ Кошекбаев, скажи точно и ясно. Подлежит бай Мажан конфискации и ссылке или не подлежит?

Каукаш-пастух чувствовал себя как на иголках, мялся, мыкал и мекал в поисках слов, оглядывался по сторонам, будто ища где спрятаться от сотен пар глаз, которые выжидательно смотрели на него со всех сторон. Он был загнан в тупик. Мажан с байбише сидели на видном месте, перед арбой. Тоже ждали, что он скажет, прямо-таки в рот ему заглядывали.

– Говори же! – подтолкнул его сзади Жорга Курен.

– Э... пусть ссылают... – пробормотал бедный Каукаш. – Власти правы. Власти, наверное... кхм... ничего зря не делают...

Народ зашумел. Кто-то Каукаша поддержал, кто-то обругал его последними словами. Жамал-байбише горько запричитала. Полная, как надутый бурдюк, с трудом поднялась и, подперев бока руками, повернулась к Каукашу:

– Пусть отзовется тебе мой хлеб, Каукаш!.. Пусть аукнется!.. Чем я провинилась-то, ойбо-ой!..

Каукаш превратился в жалкий бессловесный комочек плоти, не ожидал он подобного от байбише. Глянул со страхом на начальство.

– Молодцом! – улыбнулся худощавый с удлинненным лицом Асан, еще и ободряюще по спине похлопал.

Только тогда бедный Каукаш и успокоился.

Жорга Курен с хитрой улыбкой осматривая толпу, вопрошал:

– Кто еще желает сказать?

– Я! – откликнулся Ждахай, энергично пробираясь сквозь ряды. – Я скажу!

–Хорошо. Слово имеет Ждахай, сын Курена. С малых лет ягнят пас у нашего классового врага бая Мажана. Член комиссии по конфискации.

Плотный, коренастый Ждахай легко, как барс, с расстояния вспрыгнул на арбу. Глаза его блестели, волосы на макушке ежиком встали. Кулаки сжаты. Он лихо принялся за дело:

– Да здрабстбит реболуся! – прокричал он по-русски, воздевая кверху обе руки. – Да здрабстбит реболуся, – повторил он и продолжил по-казахски. – Она защитит от баев нас, батраков, которым нечего терять... таких вот, как Каукаш!

Стоящие на арбе дружно захлопали. А в толпе началось волнение, озадаченные выпадом молодого оратора, люди стали переглядываться. Шеге выкрикнул из задних рядов:

– Да здрабстбит реболюсия!

– О создатель, сохрани! – пробормотал какой-то старик.

Другой вздохнул:

– Дай, Господи, чтобы все добром кончилось!

Ждахай между тем не умолкал:

– Мало это – добра их лишать! И ссылать их тоже слишком мягко. Они и там устроятся, будут кататься, как сыр в масле. Прав Каукаш – оставь их в живых, так они, ей-богу, припрутся и с нами, несчастными, поквитаются. Оу, вы не смейтесь! Провалиться мне на этом месте, если не отомстят. Так что этих коршунов надо вообще убрать с нашей земли. Руки-ноги связать и на веки вечные – в железную клетку! Вот мои слова!

– Ой, чтоб рту твоему поганому на затылке оказаться!.. – завелась байбише Мажана. – Чтоб ты окошел, чтоб тебе навек засохнуть, выродок! – Женщина в отчаянии замолотила по земле руками.

– Прекратите шум! Постановление читаться будет! – объявил тут Жорга Курен, усмехаясь, развернул большой лист перед собой.

– Читай-читай! Слушаем! – раздалось в толпе.

Жорга Курен стал читать:

– Общее собрание аула бедняков и батраков №5 при Ханторткилском аулсовете постановляет... Первое. Мы на своем собрании рассмотрели дело самого крупного бая в нашем ауле, нашего классового врага Мажана Утешева. Мажан – крупный бай. Потомственный эксплуататор, хищник, как и все семь поколений его предков, сосал кровь трудового народа. По этой причине все его имущество и скот конфискуются, а сам он с семьей высылается, с условием, что будучи живым сюда обратно не вернется. Второе. Под началом местного аулсовета пребывает еще один наш классовый враг. Это – Пахраддин-бай, который в царское время был баем, правил округом. Количество скота, которое сейчас у него есть, не позволяет его считать баем, потому его следует причислить к кулакам. Скот и его имущество тоже подлежат конфискации. Однако, учитывая то, что он по своей воле помогал Советской власти лошадьми и мясом, то есть был кулаком безвредным, то его от ссылки в чужие края надо освободить. Такое вот постановление, товарищи! – заключил Жорга Курен, поднимая голову от бумаги. – Да, товарищи, есть еще одно дело, о котором надо сказать! Среди нас есть человек, который и не бай, и не кулак, и не бедняк, как это Советская власть определяет. Этот человек – прихвостень. А кого мы, товарищи, называем прихвостнями? Тех некоторых, что до сих пор нашим классовым врагам тайно прислуживают...

– Кто это? Называй-ка, не жалеи! Ну! – разверещался, подступая Шарип.

– А вот ты и есть прихвостень! Ты, Шарип! Не ты ли в сваты к Пахраддину набивался, вот ты и прихвостень!

– Что-что? Эй! – не разобрался сразу что к чему Шарип. – Повтори-ка!

Толпа, разгудевшаяся было как пчелиный рой, притихла, почувствовав, что назревает скандал. Жорга Курен, едко улыбаясь, сказал:

– А что, неправда, что ты в сватах у Пахраддина был, лизался с ним, на чапан зарабатывая? А после этого в грудь себя бьешь, что активист-бедняк ты...

– Эй, эй, Жорга! Ты... ты чего мелешь?! – сорвался на визг Шарип. Выбежав вперед, он, по обыкновению аульных ораторов, сорвал с головы шапку и швырнул ее оземь. Пыль взметнулась облаком.

Жорга Курен вздрогнул. Люди затаили дыхание.

– Я, стало быть, прихвостень?! Чтоб могила твоего деда!.. Ты – мажановская кобыла, на которой бай ездил на базар. Не ты ли все дела мажановские на базарах обстрипывал, людей дурил? Оттого ты и Жорга-иноходец. Ты-то чего от имени гольтыббы заговорил, душа твоя продажная, торгаш копеечный?! Да, был я в сватах у Пахраддина. Верно. Но не бай он, середняк. Почему ты это утаиваешь, сучье вымя?!

– Спокойно, спокойно, Шарип-ага! – призвал к порядку бывшего аулная Айтжанов.

Жорга Курен как ни в чем ни бывало, ухмыляясь, заметил:

– Вот, скажи людям правду – не угодишь.

Два милиционера, Бухабай и Жекей, взяв Шарипа подмышки, с усилием куда-то поволокли.

– Пустите, – рвался Шарип. – Вдарю я ему, злодею, по роже его наглой! П-пустите!

– Табарыш, не мешайте собранию!

Проворный Шарип, несмотря на то, что его волокли, все-таки сумел стащить с ноги сапог и метнуть его через голову милиционера в Курена:

– Вот тебе за «прихвостня»!

Сапог пронесся мимо виска Курена, чуть задев его. Неожиданно Курен и Асан упали – один налево, другой направо. Поднялась веселая суматоха, Шарипа заперли в Красной юрте. Вопли его не утихали, последними словами костерил он Жоргу Курена.

Солнце склонилось к закату. Алое было оно и заливало весь аул багрово-красным цветом. Митингующая толпа хлынула к серой, большой юрте Мажана. Конные подводы потянулись туда же. На открытой площадке, где только что проходило собрание, не осталось никого, кроме байбише Мажана, которая, распустив волосы, сидела лицом к закату и плакала.

Ранее других к юрте поспел Ждахай; что-то азартно выкрикивая, он на полном скаку промчался мимо, успев перерезать завязки кошм, сорвать сами кошмы. Оголились гнутые уйки¹, желтые, не тронутые солнцем и ветром, они были как ребра живого существа. Шеге, скакавший следом, отогнул кошмы еще шире. Теперь обнажилось целое крыло юрты. Спрыгнув с коня, Ждахай первым скользнул внутрь. В углу, спиной к нему, бай Мажан что-то лихорадочно рассовывал по карманам; Ждахай, точно барс, кинулся к нему и схватил за руку.

– Эй, мерзавец! – вскричал Мажан, от неожиданности неосторожно двинул локтем, и ассигнации рассыпались. Упал и сверток в платке. Это были сплошь красные тридцатирублевки.

– Видите, саботаж! – прокричал Ждахай. Это он взывал к собравшемуся народу, опять же, как тогда, на арбе, вскидывая сверху обе руки. Подпрыгнул на месте, довольный тем, что уличил бая. – Видите, какая зараза?! Как он добро-то прячет! На тебе деньги, на! – с этими словами он, захватив горсть ассигнаций, подбросил их сверху под шанырак и сам же их ловил, дурачась.

¹ Уйки – изогнутые жерди, поддерживающие купол юрты (*шанырак*).

– Пусть бог накажет тебя, клятвопреступник! – огрызнулся бай, присев на корточки и собирая деньги.

Тут и милиционеры подросли, схватили бая под руки, подвели к арбе. Мажан с трудом влез на нее в слезах, в три погибели согнулся. К этой арбе подвели и его байбише. Молодые бесшабашные джигиты тут же устроили бедлам, повалили, раскидали вещи, стали выволакивать наружу, потроша содержимое юрты – сундуки и лари, токи и узлы. Вещи кидали без разбору, ковры грубо срывали с петель, они тоже летели в общую кучу. В мгновение ока большая байская юрта опустела. Вдоль стен побежали мыши, напуганные обилием света.

– А с домом что делать? Его тоже кампеске? – сквозь хохот выговорил Ждахай. Он был сильно возбужден, разгоряченная аульная беднота была взбудоражена не меньше. Кто-то запел:

Бедняки и батраки,
Вперед идите!
Мулл и баев, как овец,
Камчой гоните...

Распевая песню, молодежь дружно навалилась и смела в одну кучу уйки – и шанырак юрты накренился; его не успели вовремя подпереть столбом, и он с грохотом обрушился вниз. От кульдреушов-перекрестий в купольном кругу юрты и следа не осталось – они раскрошились.

– Пусть бог отвернется от вас! Пусть отольются вам мои слезы!.. – разрыдалась байбише.

Вид шанырака¹, разбитого вдребезги, расколовшегося на множество кусков, произвел на людей удручающее впечатление.

– Жайляу твой захватит враг, зимовку сожжет огонь, – вспомнил кто-то поговорку. А старуха в непомерно большом жаулыке заторопила домой внука: «Пойдем, маленький, пойдем отсюда от греха и беды подальше...»

У Пахраддина волосы на голове встали дыбом, когда он увидел, как рухнул и раскололся шанырак Мажана. Случившееся он воспринял как крушение собственного очага, собственного благополучия. Все было ужасно – и то, как Мажан суетливо рассовывал по карманам деньги в тот миг, когда решалась его судьба, и то, как зеленый юнец Ждахай грубо схватил за руку пожилого человека. «Народ сбился с пути, ничего хорошего его не ждет. Если наша жизнь пришла к тому, что дети пошли против отцов, значит, для нас все кончено. Все конечно!» – подумал Пахраддин. Не в силах выносить тягостной сцены, он кивнул на прощание Мажану и поехал к себе в аул.

Асан Айтжанов, увидев разбитый шанырак, обругал Ждахая. Тот затараторил, оправдываясь:

– Асан-ага, вы ругаете меня за сломанный шанырак врагов, а поглядите, что сделали они? – и, задрав рубаху, показал исполосованную камчой спину. – Еще и ребро сломали.

– Прекращай бесчинство! Делай, что говорят! – резко сказал Асан. Черный, худощавый, слабый на вид Асан в гневе был страшен. Ждахай тотчас пошел на попятную.

¹ Сломанный или упавший шанырак – символ несчастья.

– Все, ага! Ждахаю два раза повторять не надо! – ужом изворачивался он.

Полумрак сгушался. Комиссия во главе с Жорга Куреном, распределив часть байского скота между батраками, направилась к байской юрте, где и собрался народ. Здесь кипели страсти. Изгоняя из аула в барса-келмес¹ Мажана, никто не заметил в сумерках еще одного человека – очевидца этого события – конника, тихо застывшего в седле. Это был Булыш, вернувшийся с охоты с гончей, за плечом – ружье. Еще издали он слышал долгий, надрывный вопль мажановской байбише и поспешил сюда. Пока Ждахай, Козбагар, Шеге управлялись с байским скарбом, укладывая его на подводы, донеслись пронзительные крики и из второй мажановской юрты, где жила молодая токал.

– Вон отсюда! Во-он! – кричала Балкия. С треском открылась дверь, мелькнул за ней подол ее белого платья.

Простоволосая, растрепанная, она решительно выволокла из юрты какого-то здоровяка, намертво в нее вцепившегося. Тот ухватился за стан молодки – не оторвется; кофта на высокой груди женщины растегнута. В здоровяке признали Бухабая. «Смотрите, смотрите на это!» – с шумом хлынули к юрте токал мужики и бабы, молодежь и дети.

– П-пусти! – вырывалась Балкия.

– Ты что, ты против кампеске? – гундосил, колыхая вторым подбородком, ожиревший, узкоглазый Бухабай, по-прежнему не выпуская из рук женской талии. – Ишь, золотом обвешалась, подстилка байская! Снимай!

Взметнулась белая, усыпанная браслетами и кольцами рука Балкии. Взметнулась и – опустилась на лицо Бухабая, раскинувшего руки для объятий. Удар красавицы был точен. Милиционер, охнув, пригнулся, зажал руками нос.

– Так тебе и надо, получай! – вскинула голову Балкия и поправила волосы, рассыпавшиеся по плечам. Застегнула кофту.

– Что здесь происходит? – повелительно спросил, пробиваясь через толпу, Жекей.

– Да стерва эта мажановская... имущество ее хотел конфисковать, а она – драть-ся полезла! Саботаж! – Бухабай принялся объяснять начальнику случившееся.

– Кампеске, гляди-ка на него! А кто разорался, войдя в юрту: а ну, раздевайся, табарыш! И кинулся на женщину?..

– Э, а что я еще скажу, кроме раздевайся? Вот, понацепляла на себя всякого богатства! Это же кампеске подлежит. Порядок такой.

– Правильно Бухабай говорит! – прикрикнул Суржекей на Балкию. – Ну-ка, ты давай сама вещички эти. Иначе силой можем, право у нас такое.

– Если что-то надо, забирайте байский скот. Какое вам за дело до моих браслетов? Или я задолжала вашему отцу? – не сдавалась Балкия. Разглядела она в толпе, в самом конце, Булыша, сокрытого ночью, осмелела. Ждахай, давно равнодушный к Балкие, весь извелся, не зная, как ей помочь. Видя, что дело обретает серьезный оборот, помчался в Красную юрту – к Асану Айтжанову:

– Асан-ага! Асан-ага!

А тот и сам навстречу вышел.

– Асан-ага! Там Бухабай токал мажановскую... ну... как сказать... Асан-ага! Беспорядок начался!

¹ Барса-келмес – народное, фольклорное определение гиблого места, откуда никто никогда не возвращается.

Когда они добрались, свалка у белой юрты Балкии действительно была налицо. В темноте мелькало белое платье женщины, отчаянно борющейся с мужчиной.

– Псы чертовы! Кто там? Пре-кра-тить! – возмутился Асан-большевик, устремляясь к дерущимся.

– Ойбай! – вскрикнули испуганно женщины.

– Срам какой!

– Безобразие!

Шеге, не выдержав, подскочил вплотную к Суржекею, готовый ухватить его за глотку:

– Жеке, что вы себе позволяете?!

– Каншай саботаж! – по-русски выкрикнул Суржекей, расстегивая кобуру.

– Зве-ерь! – вскричала тут Балкия и расплакалась.

Бухабай, оказывается, уже подмял под себя строптивую женщину, белое бедро обнажилось. Срывал он с нее все: бусы, ожерелье, браслеты.

Шум поднялся невообразимый. Ребяшня толкалась тут же, захваченная невиданным зрелищем.

– Ойбай! – завопила какая-то баба, отскакивая в сторону. В круг толпящихся ворвался конник с камчой, которая с силой прошлась по медвежьей спине Бухабая. Это был Булыш. Вскочил Бухабай, однако его ухватили за ворот цепкие железные пальцы и, не дав опомниться, поволокли как тушу козла на кокпаре¹.

– Ойбай, не трогайте его! – закричал Шеге вслед Булышу. – Не оберетесь неприятностей!

Многие побежали вслед за Булышем. Кто-то позади завопил:

– Саботаж! Саботаж! – и тут же грохнул винтовочный выстрел.

Пуля пролетела над самой головой Булыша. Но он не отпустил Бухабая. Псы еще увязались, и конь, вспугнутый ими, умчался далеко от аула. Бухабай хрипел, корчился в железных тисках охотника; только теперь он понял, в чем он плену, жалобно взмолился:

– Чем я провинился, Булыш-ага?.. – и залился слезами.

– Чем провинился? Ты, сопляк, из местных! Щенок, забыл про это? Глаза зажирили, так я жир-то тебе поубавлю, а?

– Бу-бу... Булыш-ага... Б-байская токал... что же было делать?

– Прирежу сейчас, засранец, как козла! Прирежу, сын дерьмовый.

Когда аул остался позади, Булыш придержал коня и так же, за ворот, перевалил Бухабая вперед: до сих пор бедняга, как туша на кокпаре, бессильно мотался на боку лошади. Его и без того широкое одутловатое лицо разбухло, побагровело.

– Кыр... кыр... – хрипел он беспомощно.

– Сучий сын, слышишь? Если хоть пальцем коснешься Балкии, своими руками прирежу! Понял?

Бухабай закивал головой:

– Кырр... кырр...

– Если понял, не забывай!

Бухабай терял силы, лицо его стало синим. Булыш, разжав пальцы, брезгливо отшвырнул его прочь из седла. Тот безжизненно шмякнулся на землю, как мешок. Приближались голоса. Булыш растворился в ночи.

¹ Кокпар – национальная конная игра, перетягивание козьей туши.

Наконец конфискация в ауле Мажана завершилась. В ту же ночь Мажана и его байбише отвезли в Темир. Куда их должны были этапировать оттуда, один бог знал. Балкия с помощью Асана Айтжанова получила свободу, поэтому за баем не последовала. В ту ночь Суржекей и Асан крепко повздорили по этому поводу: Асан обвинил Суржекея в левачестве, а Суржекей уличал его в пособничестве баям. Поголовье Мажана угнали в район.

На следующий день комиссия, возглавляемая Асаном Айтжановым, на нескольких арбах выехала в аул Пахраддина.

Пахраддин и Сырга-байбише в ту ночь не спали – выносили за порог добро. Пахраддин, вернувшись из аула Мажана весьма подавленным, мрачным, сказал жене:

– Все, кроме постели и посуды, выноси! Пока не разнесли в пух-прах шанырак, отдадим добро сами, пропади оно пропадом!

Сырга-байбише сочла предложение мужа разумным:

– Пропади оно, ты прав. Главное, сами живы-здоровы...

Комиссия, явившаяся в аул на рассвете – еще и скотина-то не ушла на пастбище, – была изумлена картиной, представшей глазам: перед домом Пахраддина аккуратно уложенными лежали ковры, кипы тканей, дорогие шубы и меха, драгоценности.

Пахраддин у порога встречал комиссию.

– Вот, джигиты, – сказал он, – здесь все, кроме смены белья и одежды, а также постельных принадлежностей и необходимой домашней утвари, которую мы себе оставили. Можете войти, поглядеть, – и жестом пригласил Айтжанова войти.

За Айтжановым последовали члены комиссии: Жорга Курен, Шеге, Ждахай, Козбагар. Комиссию сопровождали два милиционера. Сырга-байбише, напуганная суровым видом вошедшей толпы, отошла к порогу, члены комиссии почтительно с ней поздоровались. Затем они осмотрели юрту. В самом деле, ничего лишнего не осталось. Комиссию это поразило. Лишь конское снаряжение с серебряным седлом висело у порога, так его взял Бухабай, зажав под мышкой.

– Ты хочешь, чтобы хозяин ходил пешком? – упрекнул его Айтжанов.

– Нешауа, – по-русски вместо Бухабая отозвался Суржекей. – Пешком ходит.

– Да пусть берет! – не стал спорить Пахраддин.

Небольшой черный кебеже стоял под одеялами. Один-единственный. Туда Сырга-байбише сложила оставшуюся одежду. В ларь не стали заглядывать. Вещи, которые были сложены у порога, сначала подробно переписали, затем сложили на подводы. В полдень комиссия покинула аул.

АУЛ БЕЖЕНЦЕВ

1

В густом саксаульнике, со всех сторон окруженном барханами, притаился аул. Это скромные серые юрты, числом около шестидесяти. В них нашли укрытие беженцы из разных мест, спасшиеся от конфискации. Поселение далеко от человеческого жилья, в песках; сюда, до этой безводной пустыни, и птице с Устюрта не долететь, так что и «государственные лица» пока здесь не показывались.

Словно бабочку, ветром судьбы занесло сюда и Хансулу. Уже год, как она в ауле.

Понукая своего Каракера, Хансулу взбирается на очередной песчаный гребень, заросший ковылем. На ней – черный плюшевый камзол, схваченный в талии красным пояском, на голове – расшитая позументом тюбетейка с пухом филина. На ее обветренном лице тень давней тоски. Печальными глазами смотрит она на пыльный, серый горизонт. Кого, чего ждет – не знает, но ждет. В ту ночь, когда бежала с дядей Азбергенем, освободившим ее от Козбагара, она была так счастлива, что сердце, казалось, вот-вот вырвется из груди. Она была свободна! Но эта радость длилась недолго. Очутилась она в этом саксаульном укрытии среди людей, придавленных страхом, в глазах которых таился только один вопрос: «Что будет завтра?» Даже аульные собаки остерегались лаять. И дети шумных игр не водили.

С самого утра было ветрено. Похоже, начиналась песчаная буря. Поднявшись на Каракере на еще один ковыльный гребень, Хансулу попыталась всмотреться вдаль, но порывы пыльного ветра не давали открыть глаза. Среди дальних пыльных вихрей, несущихся косо по барханам, мелькало что-то темное, похожее на кочевье.

Хансулу похолодела.

И тут же поворотила коня назад, к аулу. Аул был в низине, кругом саксаул, высокие барханы, место укромное. Многие женщины и дети были во дворах, когда во весь опор примчалась Хансулу.

– Женеше! – вскричала Хансулу, увидев Раш, жену Азбергена.

– Что, милая?

– Женеше... Едут там... с винтовками. По-моему, солдаты...

– Да ты что?.. Что нам делать?..

В это время с той стороны гребня показалось кочевье из пяти-шести груженых верблюдов, сопровождаемое конными красноармейцами. «Ойбай! Пропали!» Женщины с воплями разбежались, прячась по юртам. В суматохе многие оказались в юрте Азбергена. Омертвели от страха. Балкия и Хансулу тоже были здесь.

Послышался голос снаружи:

– Эй, люди! Почему убежали от нас? Мы не враги. Мы – представители государства. Выходите! Поговорим.

Женщины задрожали.

– Это ж Асан! – прошептала Балкия, изумленно проведя пальцем по щеке. – Асан-балшебек!

Когда из серой юрты в самом центре аула выпорхнула женщина в белом платье, ладно сложенная, ослепляющая белозубой улыбкой, конники – а это были Шеге, Ждахай, милиционеры Суржекей и Бухабай, возглавляемые Асаном, – оцепенели, вытаращили глаза.

– Вот и нашлась наша пропажа, – прыснул от смеха Асан, худой, черный, в русской кожаной кепке. От улыбки его лицо собралось складками.

– Ну, а где мужчины, Балкия?

– Я сказала, будут.

– Но-о, куда ж они ушли все?

– А про это вы у них спросите, когда вернутся. Проходите в дом!

Асан и Суржекей, пряча лица от порывов ветра, переглянулись. «Что будем делать?» – говорили их взгляды. Решение принял Асан.

– Пройдем, сейчас пройдем, – сказал он, вежливо кивая Балкие.

Как только женщина скрылась в юрте, Асан и Суржекей начали совещаться.

– Не зря зазывает на чай бабенка. Ловушка тут, – сказал Суржекей. – Может, где спрячутся – накроют враз, как войдем.

Шеге и Ждахая поручили осмотреть окрестность. Узкоглазый Бухабай остался с лошадьми, а остальные вошли в юрту. Сплошь женщины; старые и молодые, разом поднявшись, испуганно отступили назад, давая возможность гостям пройти на тор. Балкия повесила на треногу чайник.

– Чего вы испугались? Или человека в кепке не видели? – пошутил Асан, опускаясь на одеяло на полу. Винтовку он прислонил к стене.

Суржекей, присаживавшийся рядом, приметил у порога высокую, облаченную в шаровары Хансулу и указал на нее подбородком:

– О, еще одна пропажа нашлась!

Асан задержал внимание на красивой девушке с правильными чертами лица, ее большие, как у олененка, глаза, мерцали в полутьме. Наконец-то довелось ему увидеть отважную девчонку, которая, уйдя от мужа, заставила говорить о себе весь народ!

– Не бойтесь. Мы никому зла не причиним... хотим назад вас вернуть. Только и всего.

Старухи тревожно переглянулись. Женщины холодно молчали. Черный чайник на треноге свистел, закипая. Ветер выл снаружи. Топот конских копыт раздался неожиданно.

– Асан-ага! – послышался отчаянный крик Шеге.

Первым из юрты выметнулся Суржекей. Следом выскочил Асан. Женщины расшумелись, но ни одна не покинула юрты – боялись. Только Хансулу ожила, заслышав голос Шеге: «В самом деле он?..»

Старухи запричитали, взывая к духам предков:

– О Барак-ата! О Бекет-ата!

– О повелитель, сохрани!

Хансулу, прижавшись к косяку, внимательно всмотрелась. Увидела сначала тех, кто был в юрте, – они бежали к лошадям, а потом разглядела и Шеге на рыжем жеребце, дико выплясывавшем под ним. Куда-то на восток показывал джигит камчой. И у него на голове торчала русская кожаная кепка, как и на Асане, но был он не в красноармейской форме, а в шерстяном чапане, подпоясанном ремнем, за плечом – винтовка. Это был уже совсем не тот Шеге, босоногий голе-настый сорванец, который, когда играли в аксуйек¹, бывало, из-за кости дрался. Этот Шеге – джигит, весь подобранный, профиль, словно из камня выточенный. Лицо – ей незнакомое; больно строгое, взрослое, да и взгляд... Холодный взгляд. А вон и Ждахай-баламут скачет к Асану. Ветер воет. Не слышать, что говорит. Обрывками доносилось:

– Много... Асан-ага... Це... войско...

– Наши, кажется, возвращаются, – сказала Хансулу громко, чтобы все услышали.

– О, сохрани! О духи предков, помогите! – расшумелись старухи.

¹ Аксуйек – старинная казахская игра, когда надо в темноте найти первым брошенную белую кость

В густом саксаульнике возникли всадники – мужчины аула. Среди них на лохматом, размашисто шагающем белом верблюде – ахун. Кто-то из конников в первом ряду заметил, видно, красноармейцев – вскрикнув, повернул лошадь. Мужчины, придержав коней, подались было назад, но остановились, взяли оружие наизготовку. Ахун же невозмутимо продолжил путь.

– Аскеры в ауле! – предостерегли его, но ахун, бормоча под нос молитву, направил зарысившего верблюда к группе аскеров, которые ожидали на краю аула. Свистящий ветер взметал буруны пыли под ногами верблюда.

Асан, понукая коня, поехал навстречу старцу:

– Ассалаумагалейкум, ахун ага!

– Уагалейкумассалам, сынок! Удачи тебе!

– Да сбудутся ваши слова! Вот, объединиться надо, как говорится...

– Видит бог, единения, сынок, не с оружием ищут.

– Верно, ахун ага. Вот и давайте по-мирному поговорим.

Задумался белый, как лунь, старик на верблюде, стал пальцем бороду цедить. Наконец развернул ахун верблюда, помахал рукой своим, сбившимся в кучу в отдалении. Замешкались те, не поняли, чего ахун хочет.

– Идите же, тусы! – позвал ахун и покачал головой. – Стоят пятьдесят мужчин, а пятерых боятся...

Стали выбираться из юрт и женщины. Мужчины, послушные воле ахуна, пошли к нему нехотя – среди гостей они видели милиционеров Суржекея и Бухабая. Аульчане напоминали вздыбленных кошек, завидевших собак. Впереди ехал Булыш. Охотник злобно подобран: зубы сжаты, скулы резко обозначились. Рядом с Лабак-ахуном и Асаном остановился. Его спутники застыли поодаль.

– Ассалаумагалейкум, Асеке! – произнес Булыш, делая вид, что не замечает Суржекея и Бухабая.

– Как здравствуем-поживаем, азаматы? – бодро откликнулся Асан, обращаясь одновременно и к Булышу, и к его спутникам.

– Да слава богу! – бросил кто-то из джигитов.

А второй не без едкости добавил:

– Если власть жива-здорова будет – куда мы денемся?

Кое-кто, не выдержав, фыркнул от смеха.

– Ну, джигиты! Не с войной мы к вам, согласия искать приехали. Есть что вам сказать. Кто главный-то у вас?

– Булыш главный! А наставником – ахун! – выкрикнул из гущи конников молодой полнощекий джигит в красной шапке.

– Уай, Асан-сынок, разве же не в доме ведут беседу? – тихо обронил с верблюда Лабак-ахун, глядя бороду.

– Ахун ага, хотелось, чтобы все слышали!

– Тогда бог в помощь, пусть по-твоему будет, сынок! Уай, собирайтесь все! Ближе, ближе!

Лабак-ахун, вытянув тощую шею, посмотрел по сторонам. Подходил народ. Азберген поддал в бока коню, подъехал вплотную к Булышу.

– Отойдем-ка! – пробасил он. Оба – на конях – удалились в пыльную степь.

– Слушаю тебя! – сказал Булыш, недовольный поведением Азбергена. Не лежала у него к нему душа. Не любил он его за то, что тот и дня не мог прожить, чтобы не обидеть какого-нибудь бедняка или сирую вдову. Всякий раз, когда

видел его, Булыш внутренне напрягался. Даже ждал, когда Азберген обратит свой гнев на него. Тогда Булыш, уповая на везение, дал бы ему познакомиться с силой настоящих мужских кулаков. Однако Азберген всегда старался держаться от него подальше.

А сейчас Азберген угрюмо пробасил:

– Старик, допустим, из ума выжил, а ты что? Тоже будешь крещеного комониста слушать? Известна его песенка. Не позволяй ему говорить: голову долой – и все разговоры!..

Булыш поглядел в упор на черного здоровяка. Перед ним маячило мясистое, заросшее бородой невозмутимое лицо Азбергена.

– Что ты мелешь! – вспыхнул он. – Хочешь нас бандой выставить против всего государства?

– А-а, не хочешь снести голову комониста, – волосатое лицо Азбергена налилось кровью. Лошадь, подстегнутая ударом в бок, закружилась волчком на месте. – Попомни мое слово – завтра он тебе башку снесет!

– Не драться – искать согласия они приехали!

– Нет крещеным доверия! – рявкнул Азберген – теперь и глаза у него стали красные.

Булыша вид этого кафира¹ встревожил.

– Допустим. Доверия нет, – сказал он, сбавляя тон. – Но что они сделают впятером?

– Пускай не болтают! Здесь еще болтать будут! Пусть сматываются поскорее, пока голова на плечах!

– Азберген, погоди! – Булыш едва сдерживался, чтобы не заорать. – Ты только о себе думаешь. С нами бабы, старики-старухи, вон дети. Я думаю о них. Что с ними-то будет?..

Сказав это, Булыш развернул коня. Азберген проводил его бешеными глазами. Три сына бая Мажана – Мотан, Шотан и Капан – окружили его.

Дождавшись Булыша, Асан, поддав коня каблуками, выехал на середину круга. Притих народ, во все глаза уставившись на Асана.

– Ау, люди! Вопрос у меня к вам, – заговорил Асан.

– Слушаем!

– Люди! Вот вы из аулов сбежали, от властей сбежали. И куда вы? Может, еще революцию готовите, а?

Голоса людей загудели разом.

– Погодите, по одному! – попросил Асан.

Все взоры обратились к белому ахуну, сидящему на большом белом верблюде.

– Сынок, – начал он, – предки наши говорили: нет пути у тулпара, что от косяка отбился, не улетит далеко сокол, что хозяина оставил. Мы не можем сказать, что вместе с властями найдем мир и согласие. Хуже смерти для казаха, если власть отнимет скот, запретит читать молитвы, отлучит его от привычки свободно по своей воле кочевать по вековым тропам. По этой причине мы ушли в бега. Что нас ждет впереди? Об этом мы не ведаем. Это сокрыто мраком.

– Верно говорит ахун!

– Барекельды... Лучше не скажешь!

¹ Кафир – неверный.

– Ахун-ага! – поспешил перекричать возгласы Асан. – Три обиды аульчан высказали вы правительству. Давайте проясним, уместны ли они. Внимание! Прошу внимания! Скотину, говорите, отобрали? Верно. Отобрали у вас скот. Но ведь у баев только. Отобрали и бедным, неимущим отдали. Остальное отошло к государству. Считай, это добро народа. Это одно. Молитвы, говорите, лишились? Я лично такого закона не видел, который запрещал бы народу молиться. Это два. Третье. Кочевой мы народ, говорите, свободы лишились? Я на это имею возражение. Да, мы – кочевой народ. Но время-то другое пришло. Арба огненная, аэропланы у соседей, а кочевник по-прежнему за конскую гриву держится, не угнаться ему за соседями. Не думает он о судьбе своих малых детей, женщин...

И тут на разгоряченном коне, пробивая себе дорогу, вырвался вперед Азберген и стегнул на ходу камчой Асана-большевика по голове. Кепка улетела прочь, на лбу оратора засочилась кровь. Все вокруг разом забурило. Пешие бросились врассыпную. Конники бросились друг на друга. Затрещали винтовочные выстрелы. Хансулу из толпы увидела, как кто-то, как будто Шотан, стащил с лошади Шеге. Джигиты накинулись, повалили с лошадей Суржекея с Бухабаям, отобрали у них оружие, а руки за спиной связали. Кто-то в стороне пинал оравшего от боли Ждахая, рот бедняги весь в песке. Азберген хотел было вырвать из седла Асана, изготавился схватить его, чтобы потаскать, как козу кокпара, но сзади насел Булыш. Верблюд Лабак-ахуна, напуганный свалкой, отбежал в сторону. Ахуна уже никто не слушал. Женщины, среди них была и Хансулу, отбежали подальше и сбились в жалкую кучу, как овцы. Они наблюдали за схваткой со стороны.

Асан-большевик, Шеге, Ждахай, милиционеры Суржекей и Бухабай валялись, связанные, на земле, в грязи, в крови. Схватка на глазах настороженных джигитов шла теперь между своими – Азбергеном и Булышем. Стоял невероятный шум-гам, трудно было понять, кто за кого. Дюжий Азберген и по росту, и по весу превосходил Булыша; за яростной борьбой, словно захваченные азартом поединка, следили и друзья и враги.

Казалось, это была жестокая схватка двух зверей, природных врагов, давно копивших злобу, не переносивших один другого и столкнувшихся на узкой тропе. Пожалуй, судьба вожака аула здесь и решалась. Разлохмаченные, дрались они насмерть. Одежда на обоих была изодрана в клочья. Гибкий, с хваткой леопарда Булыш зажал вскоре массивного, неповоротливого Азбергена в свои тиски так, что тому и не вздохнуть, а мгновение спустя шмякнул оземь перед джигитами, как тополь, вывернутый с корнем. Народ дружно загомонил.

Булыш чуть ли не к самым лопаткам завернул противнику руки, взгромоздился ему на спину и проорал ошалевшим парням:

– Веревку давайте!

Кто-то кинул ему конский повод. Связав Азбергена, Булыш волоком подтащил его к тем пятерым, рядом с Асаном бросил.

– Благослови тебя бог! – удовлетворенно воскликнул вернувшийся Лабак-ахун.

– Развяжите! – приказал Булыш, показывая на красноармейцев. А сам стал освобождать руку Асану-большевику.

– Зачем? – запротестовали Мотан, Шотан, Капан и еще несколько джигитов.

– К конскому хвосту их!

– Уничтожить!

– Бей врага!

Большинство же поддержало Булыша:

– Отпустить их!

– Зачем нам с властями ссориться? Мы не бандиты.

– Нам нужен мир!

Лабак-ахун, жмурясь, заключил:

– Правильно то, что разумно делается, Булыш прав.

Старец пришел в себя после недавнего потрясения, выражение лица было, как всегда, осветлено-благодное. Свободные от пут представители власти, бледные после пережитого, встали на ноги и привели себя в порядок. Джигиты подвели их коней.

– И оружие верните! – велел Булыш, сурово глядя на сыновей Мажана. Те без слов отдали отобранные ими винтовки и наганы. Они были напуганы не столько, наверное, Булышем, сколько решительным видом народа, солидарного со своим вожаком.

Ни Асан, ни Суржекей, ни Бухабай, ни Шеге, ни Ждахай не проронили ни слова. Взяли оружие, осмотрелись, сели на лошадей. Ветер по-прежнему гудел и завывал. Сел на своего вороного аргмака и Булыш.

– Асеке, – сказал он, глядя на Асана. – Один овечий катыш, говорят, бурдюк сливочного масла портит. Вроде как у нас сегодня. Дурак – один, а все мы вот из-за одного осрамылись. Дорожки наши, выходит, разминулись...

– Что верно, то верно, – Асан старательно стирал с лица кровь. – Нам уж теперь в обратную путь-дорожку! – и поддал каблуками в бока лошади.

Пятеро верховых с топотом отделились от толпы, в которой стояла и Хансулу. Она не отрывала глаз от Шеге, как влитой, сидящего на рыжем жеребце, лохматые гриву и хвост которого трепал ветер. Сегодня она увидела, что Шеге вырос, сильно изменился. Это уже не подросток, которого она знала. Скачущий на жеребце джигит неожиданно обернулся. Глаза его упали на Хансулу. Девушка не отвела взгляда...

Но Шеге поскакал дальше.

2

Как только «люди власти» скрылись из виду, аульчане стали спешно разбирать жилища. Поднялась суматоха: расплакались дети, разлаялись собаки, разревелись верблюды. Старейшины аула, возглавляемые ахуном, решили судьбу Азбергена. Развязали ему руки, позвали Шотана, Мотана, Капана, Лабак-ахун, собрав мужчин, поглаживая бороду, на их глазах изрек решение:

– Сын мой Азберген, мы выбрали главой аула Булыша, поклялись ему повиноваться. Ты эту клятву нарушил. Начал смуту между нами. Наше тебе слово: живи как все, а нет – ступай на все четыре стороны! Таково общее повеление.

Азберген молчал, насупленный, а потом сказал:

– Вина – наша, простите, ахун ага.

Простили Азбергена.

Аул собрался в путь быстро: не успели бы и чай вскипятить, как весь груз уже был на верблюдах.

Лабак-ахун благословил в дорогу:

– Оу, повелитель миров, защити! Оу, Кыдыр-ата¹, будь заступником в пути неведомом! – и, обращаясь к Булышу, заключил: – Трогаемся, сынок!

¹ Кыдыр-ата – святой, покровитель путников.

Булыш пустил галопом вороного жеребца. За ним неторопливо двинулось и большое кочевье. Не давая открыть глаза, мела пыльная поземка. Дорога шла через густые саксауловые рощи, изредка на нее наваливались песчаные увалы. Люди старались двигаться так, чтобы солнце оставалось по правую сторону кочевья. К закату оказались у стен старого кладбища. Склоны и пологая вершина увала были сплошь усеяны мазарами с башенками по четырем углам. Одни мазары были сооружены из черного бутового камня, другие из саманной глины.

– Могила Барак-аты, – пробежал слух по кочевью.

Хансулу, обернув голову красным платком, стояла в толпе других молодых и девушек. Мужчины последовали примеру Лабак-ахуна, быстро спешили. По словам знающих людей, мазар предка находился у самой вершины холма, старое саксауловое дерево росло в изголовье могилы. Чуть ниже возвышался каменный мазар Асауа, сына Барака. Хансулу впервые видела могилы легендарных батыров, отца и сына, чьи имена вошли в песни и сказания. Сердце ее сильно забило.

Люди, повернувшись к месту вечного упокоения благословенных предков, опустили на колени, преклонили головы. Лабак-ахун, сидя впереди всех, поближе к кладбищу, нараспев читал Коран, ветер играл его белой бородой. Что-то новое было в том, как пел ахун аяты. В тягучей мелодии чудилось надрывное стенание верблюдицы, разлучаемой с родными местами. Вой ветра, скрип сухого саксаульника усиливали впечатление от надтреснутого голоса старого ахуна, они словно бы говорили о ненадежности этого опасного мира. Ахун не дочитал суру, дрожащий голос сорвался. Он вытер платком глаза. Этого оказалось достаточно, чтобы мужчины и женщины начали всхлипывать.

– Прощай, отец! Прощай... – произнес ахун через силу, заканчивая молитву.

Расстроенный, придавленный скорбью народ не шелохнулся; долго еще все оставались на месте, недвижимы. Так, со слезами на глазах, заупокойной молитвой простились люди с могилой незабвенного предка на земле, которая принимала их пот и кровь, была их отечеством...

...Кочевье продолжало путь, держа теперь направление на заходящее солнце. Женщины, не в силах сдержать рыданий, голосили, и их можно было понять: дальняя дорога, чем-то она закончится?.. Впереди – туманное будущее. Вскоре и эти голоса стихли; мало-помалу плач сменился вздохами, тяжкими, долгими. Женщины успокоились, успокоились мужчины – и старые, и молодые, смирились со своей участью; впереди, они знали, еще много испытаний, следовало беречь силы. Медленный однообразный верблюжий шаг укачивал путников...

На ночь аул укрылся в густом саксаульнике, а как забрезжил рассвет, опять пустился в путь. С восходом солнца остались позади пестро-серые барханы Сама, и кочевье вышло на гладкое, точно вылизанное временем плато Устюрт. Ветер, утомивший всех, утихомирился по воле бога, и сразу, расширив дали, очистился горизонт.

Аул шел без остановок, лишь в обеденные и вечерние часы делались короткие привалы, да и то большей частью для того, чтобы дать передохнуть животным. Опасность еще не миновала. Опасались погони, следующей по пятам. На третий день пути напасть все-таки настигла их, но не сзади, откуда они ее ждали. Беда шла навстречу. Кончилась гладь Устюрта, начались рыхлые пески, и растительность

пошла другая, крупнее, кустарниковая: зверобой, тмин, ковыль. Люди наткнулись на старый караванный путь. Тропа, выбитая в песках, на целую пядь ушла в землю. Красное солнце опустилось на далекий бархан. Мужчины ехали впереди каравана, собираясь обогнуть гряду, которая им преградила дорогу, очертаниями длинный увал напоминал осевшего на колени верблюда. И тут из-за него вывернулась группа скачущих всадников. Это были туркмены в папахах, с винтовками за плечами.

Сердце Хансулу сжалось. «От власти бежали, к басмачам прикочевали, – подумалось ей. – Сейчас начнется пальба, крики, побоище...»

– О, Барак-ата! Бекет-ата!.. – пронеслось по кочевью.

И Хансулу стала молить всех святых...

Туркмены, увидев караван, придержали лошадей. И кочевье остановилось. Впервые Хансулу видела достославных басмачей, которые, как рассказывали, безжалостно грабят путников, похищают девушек. Но туркмены, сойдя с дороги, мирно продолжали путь, о чем-то переговариваясь. Хансулу почувствовала, как озноб пробежал по спине.

Мужчины в караване – и Булыш с ними – притихли. Они были в замешательстве, не зная, что предпримет матерый враг. Все настороженно поглядывали на туркмен. А те знай себе едут пообочь на красавцах-аргамаках с лебедиными шеями, кони вытанцовывают под ними. Джигиты в шекпенах¹, перетянутых натуго в несколько рядов кушаками, к лукам седел приторочены хоржуны. Едут и глазом на кочевье косят. Тишина. Лишь верблюды шлепают губами да пофыркивают. Даже женщины прикусили языки.

Впереди отряда на гнедом жеребце с черно-белыми ногами следовал маленький, с широкой окладистой бородой мужчина; папаха на голове, пожалуй, больше его самого. Гордая осанка без слов говорит – он предводитель группы.

«Неужели так, без единого выстрела, проедут?» – подумала Хансулу, расслабляя ладонь с зажатыми в ней поводьями, осмотрелась. Люди ехали бледные от страха. Вдруг шум прокатился по кочевью. Хансулу опять оглянулась на туркмен. Широкобородый, пропустив нукеров вперед, встал поперек пути. Машет рукой, кричит что-то. Булыш не медля пустил коня иноходью к нему. Один подъехал.

– Ойбо-ой, что будет!.. – зашептала какая-то женщина.

– Что им нужно? – тихий ропот прокатился среди женщин.

Булыш не задержался. Переговоры оказались короткими. Широкобородый поскакал вслед за товарищами, а Булыш повернул назад. Общее внимание, в том числе и внимание Лабак-ахуна, приковано к черному, как чугун, Булышу, поспешавшему к ним на вороном аргамаке. Жестким было выражение его лица. Еще издали махнул камчой, прокричал:

– Трогайтесь!

Это прозвучало как приказ. Девушки и молодки, следовавшие рядом с караваном, остались в неведении относительно переговоров вожака. Булыш только мужчинам сообщил, а потом разговор и до женщин дошел. Вот какие получились у них переговоры:

– Откуда и куда идет караван? – спросил туркмен.

– От правительства нынешнего в Афганистан уходим... – ответил Булыш.

– Не драпать надо, а драться! – упрекнул туркмен.

¹ Шекпен – халат из верблюжьей шерсти.

– Нет сил с ними тягаться!

– У вас нет, так у меня есть. К колодцу Шагыл поворачивай кочевье! Не пройдет много времени, и мы похороним власть у того колодца.

– Не командуй, путник! Мы пока что свободный аул!

– Эй, казах! Если от власти сбежал, то не думай, что от хана Жонейта сбежишь!..

Вот и весь разговор. Что-то за ним крылось. К страхам добавились еще страхи. «Теперь против нас ополчилась не только власть, но и еще матерые волки – басмачи хана Жонейта» – качали головами старые, выдавшие виды люди.

...Караван все дальше уходил в пески. На многие километры вокруг простиралась барханы, они накатывались один на другой как волны. Чистый сыпучий песок расстилался по обе стороны. Островками встречался ковыль; его метелки пожелтели на солнце. Из растительности – столетник, верблюжья колючка, агава. Дикая пустыня, без признаков жизни, совершенно безлюдная, даже без следов копыт животных... Солнце печет. Барханы опаляют лицо жаром. Во рту пересохло – томит жажда. Два колодца на пути встретились, но воды в них оказалось мало, на всех не хватило, зато с третьим, под названием Саршейт, повезло. И верблюжьей колючки вокруг этого колодца росло много. Поснимали люди поклажу с верблюдов, напоили их, пустили пастись. У колодца и решили они провести ночь.

3

Вооруженная группа из пятидесяти человек – среди них добровольцы и представители народной милиции – днем и ночью преследовала старым караванным путем бежавший аул; вели ее Афанасий Гринин и Асан Айтжанов. К вечеру третьего дня, когда отряд углубился в туркменские Каракумы, острый глаз Асана заметил среди барханов мелькнувшую верблюжью голову. Отряд как раз выбирался из сая, по знаку Асана джигиты отступили назад.

– Раз скотина обнаружилась, значит, и аул тут, – сказал он Апанасу, уже прилаживавшему к глазам бинокль

Апанас вызвал к себе Ждахая и Шеге.

– Во-он на том холме караульный, видите? Он один там, – сказал им. – Вы самые, так сказать, сознательные ребята в отряде. Приказываю от имени революции снять часового, но без шума. Ясно? И по возможности, живым постарайтесь взять. Мы должны захватить аул перед рассветом, когда он спать еще будет. Сами понимаете, если они успеют сесть на коней, начнется пальба, прольется кровь... Вы меня поняли?

– Поняли, товарищ командир! – наперебой ответствовали Шеге и Ждахай, вытягиваясь по-военному. Их глаза горели азартом.

– Это ваше первое боевое задание, ребятки. Верю, что сделаете, как надо. Скоро появится луна, все будет видно, как на ладони. Возьмете караульного – дадите нам знать. Рукой помажете с холма, – сказал Апанас.

Получив приказ от командира, Шеге и Ждахай оврагами и ложбинами, крадучись, пробирались к большому бархану. Кругом темень. Каждый куст впереди – как затаившийся враг. Сердца у парней стучат, готовы вырваться из груди. Через некоторое время Ждахай прошептал:

– Парень, ну и влипли мы...

– Что, испугался?, – прыснул Шеге.

– Как не испугаться... что станешь делать, если кто-то, как медведь, навалится со спины?..

– Не бойся! Кроме караульного, все спят.

Было тихо – только сухие травинки шуршали под ногами

– Тише! – шепотом отругал Шеге Ждахая. Оба не сводили глаз с часового, одинокий силуэт которого темнел на вершине, которая, напоминая горб верблюда треугольником вписывалась в звездное небо. У обоих по ножу, по берданке. Пригнувшись, перемещались короткими перебежками. Все, что успели сделать, пока не вышла луна, это добраться до подножия бархана. Затаились в кустах дузгена, под сухими ветками. Ничком залегли, не дышат.

Караульный – все на том же месте, за плечом – ружье. То и дело разворачивается, осматривает спящий подлунный мир.

– Отца его в душу, – бурчит Ждахай, – если он и дальше такой бдительный будет, нам к нему не подступиться.

– Подождем, до утра далеко, – прошептал Шеге.

Впереди стал светлеть уголок мутной тьмы, и вскоре показалась луна, вернее, полумесяц, румяная, как лепешка-кулше¹.

Ждахай толкнул Шеге в бок, кивнул на вершину. Шеге осторожно высунулся из-за сухих веток и увидел, что караульный сел, поджав под себя ноги, винтовку держит в руках.

– Даст бог, – шепнул Ждахай, – устанет. Хорошо, что присел, быстрее уснет.

Шеге перевел глаза на небо, на луну, переместившуюся к центру небесного купола, вся округа освещена ею. Влекли, манили к себе покатые белые плечи бархана. Похоже было все это на чудный сон. Побежать бы босиком по этим осыпающимся под ногами склонам! А почему бы и в самом деле не побежать в лунные дали? Да еще бы с Хансулу...

Поглядывая на караульного, размышлял о своем и Ждахай, лежавший под кустами. Своя у него боль, Балкия. Светлолицая красотка Балкия с глазами дикой кошки.

Около полуночи, луна в зените. Откуда-то налетел прохладный ветерок, шевелит головки ковыля. Караульный свесил, бедняга, голову. Дремлет, похоже.

– Ждахай, – шепнул Шеге. Замечтавшийся Ждахай вздрогнул.

– Похоже, задремал...

Луна была уже в самом зените. Сухо шелестел верхушками ковыля прохладный ночной ветерок. Еще некоторое время они сосредоточенно смотрели на караульного, который сидел, свесив голову на грудь. Похоже, парень в самом деле задремал.

Друзья стали обходить сопку. Хорошо, что с вершины не просматривалась ее подошва. Поднимались на бархан с подветренной стороны, со стороны спины караульного. Ползли, как ящерицы. Со склона и укрытый аул стал виден, его ярко освещала луна. Он находился на расстоянии скачки тая-жеребенка. Юрт нет, вместо них – шатры и шалаши из решеток кереге. Лошади стояли оседланные.

Приятели выбрались на осыпающуюся под руками и ногами вершину. Условились, что, если часовой проснется раньше времени, Ждахай метнет нож. Если он будет близко, как барс, метнется Шеге и зажмет часовому рот. Стрелять не будут. Караульный, похоже, молодой. На нем шекпен из верблюжьей шерсти.

¹ Кулше – лепешка, выпекаемая на сковороде на углях.

Опоясан широким ремнем с тусклым рядом патронов. На голове круглый борик. Спит, лбом к винтовке прислонился.

Ждахай подполз, потянулся к уху Шеге:

– Это Рысбек, провалиться мне!

– Брось ты! – испугался Шеге.

Зажмурившись, Ждахай закивал, подтверждая. Оба некоторое время с испугом смотрели в спину часового. Перед глазами Шеге – курносый рыжий пастушонок Мажана Рысбек-сирота, некогда пасший байские табуны. Телом крепок, но тихоня и трус. Казалось, еще вчера он в летний солнцепек на окраине аула проводил часы с аульной ребятней в азартной игре в асыки. Если ребята понаглей, вроде Ждахая, поднимали шум, требуя вернуть проигранные асыки, он, робея, тотчас возвращал их. Отец и мать его, будучи батраками у Мажана, умерли рано. Рысбек остался полной сиротой. Спал и дневал в загонах мажановского скота.

– Живым берем, слышишь? – сказал Шеге, не отрывая глаз от часового.

– Ясное дело, если получится, – отозвался Ждахай.

Ползли почти не дыша. Расстояние между ними и спящим Рысбеком сократилось, он совсем близко. Рысбек всхрапнул. Друзья переглянулись, продолжали ползти. Руки и колени мягко погружались в сыпучий песок. В травах что-то шуршало. Ночная пустыня давала знать о своей скрытой жизни. Они подступили к караульному вплотную. И тут произошло то, чего они никак не ожидали. Что-то затрещало в ковыле, и отчаянный заячий вопль вспорол ночь:

– Бик! Бик! – оказалось, на бархане жили зайцы, они испугались, и испугали всех вокруг.

– А?.. А?.. – замахал руками Рысбек и вскочил. Но опасности, приблизившейся со спины, не увидел.

Именно в этот миг по-волчьи и кинулись к нему Ждахай и Шеге. Винтовка Шеге осталась на том месте, откуда он прыгнул, протянув обе руки вперед. Горбатый нос и рот высокого Рысбека оказались под ладонью Шеге. Парень забарахтался, желая вырваться, и хотел крикнуть, да не смог: двое, что были на нем, подмяли его под себя – не давая дыхнуть. Хватка Шеге была железная. Он глянул на Ждахая. Тот повис на поясе длинного Рысбека, который отчаянно вырывался. И тогда Ждахай с размаху воткнул нож в живот Рысбека. Шеге попытался было закричать, но пересохшее горло не издало ни звука. Однако Ждахай все-таки что-то услышал. Он опять было взмахнул ножом, но второй раз ударить уже не смог. И Ждахай, и Шеге смотрели на окровавленный нож.

Рысбек корчился под обоими, то судорожно сгибаясь, то вытягиваясь во весь свой рост. Не уходила душа из тела...

Шеге отдернул руку, отскочил в сторону. Заячьи крики продолжались, но теперь их «бик-бик» донеслось откуда-то издалека. Шеге не хотелось попадаться на глаза умирающему Рысбеку. Он был ошеломлен случившимся. Сейчас, даже если бы небо обрушилось на землю, он не нашел бы в себе сил отреагировать на это. Ему стало все безразлично, пусть даже если бы аул проснулся, окружил бы их со всех сторон и перестрелял.

– Кончился, – сказал через некоторое время Ждахай, подходя к нему и опускаясь на колени. Со вздохом сказал.

– Зачем ты? – спросил Шеге тихо, не глядя на него. Его трясло от злости на приятеля, и в то же время томило ощущение полного бессилия.

– Сам не знаю как получилось... – Ждахай мрачно смотрел вниз.

На востоке небо еле заметно посветлело. Тело било ознобом.

Шеге встал, пошатываясь. Во всех суставах дрожь. Поглядел на труп. Рысбек опрокинулся навзничь, головой к востоку. Шапки на нем не было. Она скатилась вниз по бархану, темнела внизу точкой. Ждахай, вытащив из нагрудного кармана платок, помахал им в предрассветном воздухе.

4

Аул спал безмятежно, только Лабак-ахун бодрствовал под лунным небом, белый чапан и белая чалма излучали свет в темноте. Временами его пальцы перебирали четки. Закрыты глаза ахуна, сознанием он в другом мире. Не знал, сколько просидел; только когда очнулся, уже рассеялась густота короткой летней ночи. Встал, похрустывая суставами, собрал жайнамаз. Поворачивая назад, глянул на вершину, где должен был стоять караульный, – и обмер. Вершина была пуста. Старик сначала не поверил глазам. Всмотрелся внимательнее. Нет, не подвели его глаза. На вершине и в самом деле никого не было.

– Булыш! Ай, Булыш! – заголосил он потерянно. Вопль старика всколыхнул сонную тишину. Мужчины, спавшие в одежде, подложив оружие под голову, мигом выскочили из шалашей.

– Атга-ан!¹ – издал традиционный боевой клич Булыш, вспрыгивая на своего аргмака. – По ко-оням!

За ним в предрассветную тишь, оглашая окрестность дробным перестуком копыт, двинулись воинственно настроенные джигиты. Впереди щелкнул выстрел. Всадники замерли перед устьем барханного сая. Они поняли, что напоролись на засаду.

– Остановитесь! Бросьте оружие, если не хотите крови! Бросайте оружие!

Предупреждение услышали и старые уши Лабак-ахуна; он бежал к тем, что стреляли, полы чапана разлетались по ветру. Переполошенные женщины в суматохе валили шалаши, спешно нагружали верблюдов.

– О Бекет-ата! – рыдал на ходу ахун.

– О Барак-ата! – вторили ему жалобные голоса женщин. Мороз пробегал по коже от их причитаний.

С той стороны прокричали властно:

– Кто сдастся добровольно, будет прощен!

– Нашли дураков! – ответили отсюда.

– В укрытие! – закричал Булыш.

Мужчины покатались с лошадей, улеглись за круглой песчаной грядой, заросшей ковылем. Послышались ответные выстрелы.

– Булыш! Ай, Булыш? Я – Апанас! – раздалось в тишине. – Послушай меня. Опомнись! Не губи зря людей. Сдавайтесь! Добровольно сдавайтесь. Клянусь – никого наказывать не будем! На родину вернем – вот и все наказание.

Три выстрела с разных сторон прозвучали в ответ на предложение Афанасия Васильевича. Однако отряд не ответил на эти выстрелы. Джигитов кочевья это сильно удивило. Со стороны армейцев продолжались призывы сдаться. И это злило джигитов все сильнее.

– Бросайте оружие! Сдавайтесь!

¹ Аттан! – На коней!

Ахун стоял в стороне, беспомощно теребил бороду и причитал:

– Ай, дети мои... ой, детки мои...

– Ахун ага, укройте от пуль! – кричали со всех сторон, но он не обращал на них внимания. На губах молитва, в глазах слезы. Отряд, видимо, неспроста не вел огонь. Голоса армейцев стали доноситься и с левой и с правой стороны со склона большого бархана.

– Вы окружены! По обе стороны от вас – пулеметы!

– Бросайте оружие!

Подал голос и Шега:

– Булыш-ага, не сопротивляйтесь! Булыш-ага, зря людей погубите! Зря!..

– По коням! По коням! – прохрипел Булыш. Он не думал легко сдаваться.

Но и с тыла возникли красноармейцы. Булыш, не целясь, нажал на курок. Первый красноармеец, вскинувшись, как выброшенная на берег щука, растянулся плашмя. Второй тоже упал, его кто-то из джигитов Булыша подстрелил.

– Огонь! – сурово прозвучала команда.

Железным грохотом заговорили пулеметы. Четверых джигитов мигом сорвало с лошадей. Кони, раненные, заржали, вздыбились свечой; их, терявших своих седоков, становилось все больше. Пулеметы продолжали отбивать дробь. Градом сыпались пули, кто устоит? Пришло время, когда каждый стал думать о собственном спасении. Джигиты Булыша стали отступать в барханы. Туда же уходило и разрозненное кочевье.

В самом центре поля битвы, на гряде, на которой только что укрывались джигиты, остался ахун, освещенный утренним заревом. В руке – посох, белый чапан развеивается, как флаг. Собственными глазами он увидел сегодня, как гибнут молодые, он слышал, как выли пули, унося молодые жизни. Лучше б не видел и не слышал он этого!..

Старик просил у бога смерти:

– Пошли мне пулю погибели! Пошли ее старому, выжившему из ума дураку! Пусть я сгину! Почему я до сих пор – живой? Почему не пал костями? Почему не пал? Чуюло сердце беду, не мог уснуть ночью. И почему ты, старый дурак, сразу не понял, в чем дело?! Почему не поднял кочевье ночью и не двинул в путь?! О, безумный! Ты виноват в гибели людей! Ты виноват в пролитой крови! – Слезы текли по его лицу.

Старик стучал палкой о землю. Вылетевшие из сая пятьдесят конников кинулись вслед за бегущим кочевьем. Никто не смотрел на голосившего на гряде ахуна, на него не обращали внимания. Всадники с гиканьем пронеслись мимо. А когда старец пришел в себя и огляделся, то увидел, что около колодца уже нет ни души. На конские трупы с клекотом уже садились прожорливые вороны, кречеты. Невдалеке бродили оставшиеся без хозяев лошади, они пощипывали траву.

Чуткое стариковское ухо уловило чей-то протяжный стон. Вгляделся в низину. Там – о создатель! – он увидел двоих, склонившихся над телом; они зачем-то поддерживали телу голову. Выходит, не все тут мертвецы, есть среди них и живые, раненые! Старец стал спускаться к ним широкими шагами. Один из двоих оказался пожилым русским, второй – молодой казах – забинтовывал раненому грудь.

– А, аксакал, салам! – поздоровался русский, завидев ахуна.

Ахун кивнул. Признал он раненого. Большевик Асан! Тяжело, видно, ранен. Стонет.

– Воды... воды... – просил он.

Молодой джигит, помогавший русскому дохтуру, покапал в рот раненому воды из брезентового бурдюка. Глаза Асана, блуждая, остановились на ахуне. Старик покачал головой. Асан не сказал ничего. Не смог. Не в силах глядеть на умирающего, ахун качал и качал головой.

– Ах, сынок... ах, сынок... – бормотал он. И пошел вперед, ничего не видя перед собой.

Пойдет теперь бедняга странствовать, скитаться, пока не скроется из глаз мира сего его непонятная жизнь...

– О создатель! О создатель! – причитал он.

Ахун уходил бродяжничать. Что ему, старому болвану, осталось? Бродяжничать. И умрет он – бродягой. Кара по заслугам...

А с запада, из-за бархана, показалось кочевье. Длинное, нескладное кочевье. Рядом с верблюдами устало шагали пешие. Слышались плачущие женские голоса. Караван и остатки скота ввалились в ложину, что у колодца. Ахун, так уж получилось, вышел навстречу своему каравану...

По приказу Апанаса кочевье задержалось у колодца до вечера. Среди погибших кто-то находил сына, кто-то – отца, кто-то – брата; и без того израненный, аул наполнился протяжными причитаниями и горячими слезами. Для отряда этот день так же печален: предали земле троих погибших, в том числе и большевика Асана Айтжанова. Троекратно дали залп из винтовок... Когда спал зной, кочевье вышло в дорогу. Оно возвращалось по своим следам. Большую часть кочевья составляли женщины, дети, старики. Были и сдавшиеся добровольно мужчины – они сопровождали семьи без оружия.

...В то время, когда аул бросился в бегство в пески, от него в сторону между дюнами ушло одинокое кочевье. Таясь, ложбинами и низовьями, уходила оно все дальше и дальше. Это было кочевье Балкии. Мужественная женщина, наученная горьким опытом былых погонь, сообразила, что в случае, если Булыш уйдет от красноармейцев, он ее непременно разыщет, потому и решила уйти.

Джигиты Булыша, отвлекая внимание отряда от бегущего аула, пустились в бегство, на ходу отбиваясь от противника. Но командир отряда оказался хитрее. Основные-то силы он бросил на воинов Булыша, а оставшуюся часть – на аул. Ясное дело, что очень скоро беженцы были в руках преследователей, что, собственно, им и требовалось, а потому основные силы стрельбу прекратили.

Джигиты Булыша поняли, что сопротивление бесполезно – красноармейцы превосходили их числом и оружием; среди них началась смута – крики, споры, стычки. Если бы не Булыш, возможно, и перебили бы они друг друга по горячности. Став свидетелем гибели безвинных людей, Булыш пришел к твердому решению, о котором пока что не догадывался никто. Теперь самое время объявить о нем.

– Послушайте меня! – попросил он.

Джигиты, прекратив шум, обратились в слух.

– Грех я взял на душу, посылая вас на врага, который был сильнее. Если и дальше будем сопротивляться, нашим женам и детям придется и нас оплакивать. Не хочу, чтобы ваши жены оставались вдовами, а дети – сиротами. С этого места возвращайтесь назад! Такое к вам мое слово. Дальше я пойду один.

Булыш говорил с седла. Без того черный, он осунулся совсем, налитые кровью глаза сильно ввалились. Винтовка лежала поперек седла. Джигиты всего ждали от Булыша, всего – но только не этого. Волнение прошло по рядам конников.

– Мне дорога назад заказана. То, что суждено, приму сам. А вам мой приказ – ступайте к семьям! Считайте, что это благословение вам. Кто пойдет за мной, встретит мою пулю. – С этими словами он стал разворачивать коня.

– Вот-те на! – вырвалось у кого-то.

– А мы-то теперь с кем же... Булыш-ага?

– С Апанасом! Он русский ничего. Честный. Свое слово сдержит. Простит вас. И направил вороного туда, где скрылось кочевье Балкии.

Подавленные джигиты молчали. А потом снова заспорили. Половина решила вернуться с аулом, другая половина ждала, что скажет Азберген, ярый враг Советской власти. Мужчины разбились на два лагеря. Частью, отделившейся от всех, стали Булыш и Балкия. Многие потерянно смотрели вслед Булышу до тех пор, пока он не исчез за дальним холмом. Что задумал, куда держит путь – никто не знал.

5

Отряд, сопровождавший кочевье, и на второй день не сумел выбраться из бескрайнего моря песков. Путники опять заночевали в пустыне. Осенняя безлунная ночь была прохладной. Люди попрятались под сухими кустарниками карликовой акации, залегли спать.

Отряд выставил караульных. Среди них был Шеге. Стоило ему хотя бы на миг закрыть глаза, как возникал образ Рысбека. Не может Шеге забыть о о ночном происшествии на бархане. Осунулся от бессонницы, щеки запали, словно после болезни. С той самой ночи и Ждахая не может видеть, настораживается в его присутствии, как кот при виде собаки. Вспоминал и о погибшем Асане. Впервые в жизни с тоской задумался юноша о жизни и смерти. Недавно по просьбе Апанаса Лабак-ахун произнес для народа увещательную речь. И холодные черные тучи, накопившиеся в душах людей, стали смягчаться, проливаясь слезами из глаз. На некоторое время люди отвлеклись от воспоминаний о недавней трагедии, они всей душой внимали задушевному голосу старика. Шеге ушел вглубь барханов и там, не в силах сдерживаться, расплакался. Он чувствовал себя бесконечно одиноким. Одна только Хансулу могла бы разделить его душевную тоску... И он стал искать случай, чтобы переговорить с ней наедине. И случай подоспел. За ужином, когда за хлопотами никому ни до кого не было дела, он оказался рядом с девушкой и шепнул ей:

– Я сегодня в карауле. Ждать буду.

Покажется уже скоро луна, вокруг всё мягко посветлело. Все давно уже спят. Но Хансулу все еще нет... Этот поход раскрыл ему глаза на людей. К примеру, его поразили поступки Апанаса. Стоит, скажем, Лабак-ахуну остановить верблюда

и расстелить жайнамаз, а делал он это по утрам и вечерам, совершая молитву, как Афанасий Васильевич давал знак остановиться и кочевью, и отряду. Все, кроме тех, что молились вместе с ахуном, ждали, когда старец соберет жайнамаз. Таков был порядок, установленный в пути командиром отряда. Изменилось и отношение аулчан к Апанасу. «Добрый человек», «С совестью, хоть и не мусульманин», – высказывались старики. Ждахай и несколько джигитов, однако, ворчали, недоумевая, чего, дескать, командир с муллою нянькается, а Суржекей спросил напрямик: «Зачем такой почет бандиту, Афанасий Васильевич?» А у командира один ответ: «Всякий народ и обычаи его уважать надобно».

Шеге вздрогнул. В темноте послышался шорох тихо идущего человека. Обозначился тонкий силуэт. Шеге взгляделся. Хансулу! Она... У Шеге пересохло во рту. Что он делать-то будет?

Мягкие шаги затихли, она была уже рядом. О боже, она! Стройная, гибкий силуэт. Берданка за плечом стала вдруг необыкновенно тяжелой. Она вдруг стала мешать ему! Едва не споткнувшись, неловко сделал шаг навстречу. В голове от-решенно проплыла мысль, что над ним – звездное небо, под ногами – песок; что вся эта беспредельная обитель сейчас как во сне...

– Хансулу! – произнес он срывающимся голосом. Это был тихий зов. Но Хансулу услышала.

– Я, – откликнулась она.

Нежность сквозила в ее мягком голосе. Шеге подошел к ней. Остановился. На девичьих плечах – тонкий чапан. Смотрит на него из-под длинных, загибающихся кверху ресниц. И хотя была ночь, он хорошо разглядел ее большие красивые глаза, угадал их выражение. Она стояла рядом, можно было дотянуться рукой.словно ночная звезда, сейчас она. Девушка улыбнулась. И понял Шеге, как неприлично долго он молчит. Пытаясь унять сердцебиение, предложил:

– Пошли на бархан!.. П-прогуляемся...

Улыбка все еще на девичьих губах. Она молча пошла с ним. Стучит сердце Шеге, чувствуя тесно в груди юноши. Хрустит под ногами сухая осенняя трава. Прислушиваясь к тишине, он пытался совладать с противоречивыми мыслями. Что он скажет той, которую любит, которую столько ждет?! Что ответит, если спросит: «Зачем звал?» Звездное небо над головой... Пылит светом Млечный Путь. Кругом царство песков. Отсюда, с барханов, оно хорошо просматривается. Хансулу ступает будто нехотя, лоб ее светел, и она кажется пери. На бархане опять молчали, не в силах выйти из неловкого состояния, которое испытывали. Они устремили взгляды на слабо освещенные барханные волны, словно ожидая чего-то.

– Сядем! – предложил Шеге и, грустно вздохнув, первым опустился на рыхлый песок, снял с плеча и положил рядом берданку.

Небо на востоке заметно посветлело. Луна уже заметно поднялась над горизонтом. Лицом к востоку пристроилась и Хансулу.

– Луна нарождается, – сказала она. Тихо и грустно сказала.

– Сейчас выйдет луна, и станет красиво в песках, – подхватил Шеге. – Ты бродила когда-нибудь по барханам под лунной?

Хансулу цокнула языком, что, по-видимому, означало – нет.

– Жаль, а то, знаешь, красиво... В наших краях лунная ночь одна, а здесь – другая...

Девушка сидела бок о бок, что-то чертила на песке и то и дело поглядывала с улыбкой на джигита: в его глазах слабо-слабо вспыхивали искорки, он даже, кажется, хорошел, когда с улыбкой о чем-то рассказывал.

– Шеге, – повернулась она к нему, – ты лучше скажи, что будет с нами, когда вернемся?..

– Разве Апанас не сказал? Ничего не будет. В артель войдете, по-новому жить станете...

– Всего-то? Что-то не верится. Если все, что сказал Апанас, правда...

– Апанас – настоящий ребелсенер!¹ – пылко заверил Шеге, как бы демонстрируя девушке, насколько он политически грамотен. – Что Апанас скажет, то и будет.

– А ты тоже... ребелсенер?

– Все, кто за Советски бласты борется, ребелсенеры! – воскликнул Шеге. И – стушевался. О чем это он? Словно все время прислушивался к тому, что на душе, что томило ее. Просит чего-то душа. Но не разговора о революции. Нет. Откровения душа просит. Но как откроешься?

Хансулу, скосив глаза, посмотрела на него. Луна освещала его простодушное, полудетское лицо, тонкие усы. Шеге вздохнул, повернул к ней голову. И увидел лучащиеся теплом глаза девушки. Он отвел взгляд. Впервые в жизни он увидел, что Хансулу смотрит на него так – мягко, доверительно...

Млечный путь пылил светом над головой, под ногами, как округлая волна, плыл бархан. Подумалось ему, сидят они с Хансулу вдвоем в самом центре вселенной, обливаемые живительным светом луны. Ему показалось: измученное сердце уже не болит, возможно, от счастья, которое чудодейственными каплями вливалось в его сердце. Шеге не шевелился, боялся спугнуть доверие девушки. Не хотел мешать рассвету, занимавшемуся в нем. Светло в голове, светло в груди. И дышать-то легче стало, и сердце билось-колотилось с новой силой.

– Сулу! – вырвалось у него.

Девушка перевела глаза на песчаные гряды, которые и в самом деле были восхитительны под луной – переливались всеми оттенками серебра, как в сказке. Шеге протянул к ней руку. Немой жест, он как бы молил: «Вызvoli меня из тьмы...» Рука тронула девичью косу. Сердце и вовсе стало рваться из груди... Нежный, едва уловимый аромат духов шел от ее волос. Его бы была воля – до утра вдыхал бы он это благоухание, такое желанное, такое родное... Оба молчали.

Шеге взял Хансулу за руку. И сам поразился своей смелости. Тонкие пальцы – о чудо! – оказались в его ладони. Но Хансулу, дрогнув, отстранилась. Глядя на него своими лучистыми глазами, тихо высвободила пальцы. Тепло ее руки осталось в его пальцах.

– Пошла я, – сказала она и запахнула чапан.

– Посиди, – попросил Шеге, хотя и чувствовал, что она уйдет. Ему не верилось, что все это происходило наяву..

– Нет, – ответила она, улыбаясь и качая головой.

Шеге боготворил ее в эту минуту. Встал Шеге, едва мог стоять на ногах. Высокая девушка в легком чапане внакидку уходила в ночь как тень. И этот исчезающий в ночи силуэт словно бы говорил ему особым образом: «Я твоя».

Ночь, в небе скользит луна. На бархане – Шеге. Совершенно ошалевший от счастья Шеге...

¹ Искаж.: революционер.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

1

Каравану чаще стали встречаться людские поселения, и пришло время Хансулу удивляться. За год их скитаний по пескам жизнь изменилась. Меньше стало старых небольших аулов из пяти-десяти дворов, что обычно кучились возле сопок, как бобы под рукой гадалщика. Теперь селения сосредоточились вокруг колодцев да родников; и домов в них стало больше, и народу. Строились постоянные дома, люди делали кирпичи, поднимали стены; над некоторыми строениями полоскался красный флаг. Похоже, это были аулы из тех, что быстро идут к «новой жизни», о которой Хансулу и ее спутники так много были слышаны.

По словам Шеге, их старый аул осел у родника Жылыбулак, теперь это товарищество называется Жанажол¹.

В первую минуту ей показалось, что у основания каменистого холма раскинулся целый город. Оживленно выглядело желтое подножие: народу, как на празднике. Надо же, как изменился мир за один-единственный год!

Хансулу очень хотелось поскорее увидеть мать и отца. Все ее внимание было приковано к белой юрте, которая стояла в некотором удалении от аула. Хансулу узнала свою юрту. Перед домом стояла мать. Слезы брызнули из ее глаз.

– Ах ты, зараза, вон какой каллектеп! – ликовал Ждахай.

– Нет, ты погляди, Шеге, какую школу построили! Молодец Козбагар! – подпрыгивая от радости, Ждахай чуть не слетел с коня. Вспомнила тут Хансулу, что ей рассказывал Шеге. Председателем-то в новом ауле – Козбагар! Аулом, получается, теперь управляет недотепа Козбагар, от которого она бежала. Попробуй поверь всему этому!..

Люди, приостановив работу, уставились на караван, который растревожил аульных собак. Какая-то баба принялась яро подначивать Торку:

– Мать, да ты погляди, кто едет! Невестка ваша беглая возвращается, вот радость-то! – нарочито кричала она во всеуслышанье.

Старуха Торка тотчас разбушевалась:

– Да пропади она пропадом, невестка!.. Нужна моему сыну беглая кулацкая дочь! Пусть держится подальше от моего сыночка!

Часть кочевья остановилась на краю аула. Дети по обыкновению побежали к нему, но взрослые не спешили встречать.

Шеге, увидев Козбагара, нарочито громко спросил:

– А председатель-то где? Где председатель?

Козбагар работал – долбил ломом землю. Услышав Шеге, выпрямился, вытер пот со лба.

– Эй, таварыш! Встречай свой народ! – уязвил его Шеге в самое сердце. Козбагар, чувствуя себя неловко, неуклюже потопал к кочевью.

– Назад! – тотчас закричала Торка.

– Апа-а, мой долг..

– Да чтоб он провалился, твой долг! Кому говорю, назад! Наза-ад!! Ойбай, пусть глаза мои вытекут, если видела где такого болвана! Пропади ваша кулачья банда!

¹ Жана жол – Новый путь.

В праведном гневе Торка плюхнулась на землю и заколотила по сухой глине склона костлявыми кулачками.

Шеге, склонившись к самому уху взбалмошной старухи, тихо сказал:

– Апа, поосторожнее со словами «банда», «кулак». Эти люди к нам по приказу ГПУ присланы. Как вы можете такое говорить, вы же мать председателя? Сам табарыш Сталин приказыбат астанабит откошѐбки!¹ – по-русски произнес Шеге. – Такая вот политика!

– Ойбу-уй! – вытаращицалась на него Торка и, не говоря ни слова, понеслась к верблюдам. Доконал ее Шеге своим русским. – Ойбу-уй, нечисть, дала верблюжонку-то пососать, а я и не подоила... Ай! Чу! Чу!..

Все дружно расхохотались. И Хансулу рассмеялась. Ей понравилась находчивость Шеге. Одной-единственной фразой сумел он обратить в бегство скандальную старуху. И она одарила его долгим взглядом.

2

Маленькое кочевье долго петляло по пескам. Сначала, опасаясь погони, оно уходило без остановок, лишь бы подальше. Погони не было. И тогда беглецы решили двигаться на восток – опять же спешно, невзирая ни на день, ни на ночь. Барханы все не кончались. Лишь на третий день пути открылся лог, заросший верблюжьей колючкой и вьюном. Там и остановились. Выгрузили поклажу. Двух верблюдов и одного верблюжонка, спутав им ноги, пустили пастись. Потом расседлали двух лошадей – людей-то в кочевье всего двое. Мужчина и женщина. Пока мужчина управлялся с животными, женщина развела костер, вскипятила воду. Оба были безмолвны. Из двух стенок юрты быстренько соорудили шалаш. В нем, сгорбившись, пили чай. Горячий чай скоро вышиб пот; вытерев взмокревший лоб, мужчина сказал:

– Ты ставь юрту, шанырак подниму я, а ты – все остальное. Я начну колодец копать...

Женщина выдохнула блаженно:

– Уф, благодать! Наконец-то довелось спокойно чаю глотнуть...

Светлолицая, гибкая женщина, потягиваясь, как кошка, на глазах джигита повалилась на расстеленное одеяло. Чай разморил ее, она томно то открывала, то закрывала большие красивые глаза, полные света. Это была Балкия. А мужчина, что рядом с ней, – Булыш, ее Булыш, которого она сумела-таки «зацепить» с шумным скандалом. Перед глазами – во сне и наяву – Булыш. Черный, как чугун, Булыш. Насколько груб он внешне, настолько нежен душой. Булыш, ее Булыш, отвергший все радости мира ради нее одной, единственной на этом свете избранницы. Да и Балкие-то, собственно, иной жизни и не надо. Только бы он, Булыш, был рядом, только бы он, Булыш, был жив и невредим.

– Пошевеливайся, милая, не время отлеживаться, вон лошади пить хотят.. Вставай-ка, – сказал Булыш повелительно, хотя и приятно было ему глядеть на нее, сладко потягивающуюся. Балкия, смежившая было в дреме веки, улынулась, приоткрыла глаза. Глаза, как у дикой кошки, блеснули.

Сердце его застучало. Взгляд скользнул по округлому женскому бедру, потом – по необозримому морю барханов, открывающемуся из шалаша. Желтые гряды – как свежее испеченные краюхи хлеба, чуть выше – гладь неба, неоглядная,

¹ Сам товарищ Сталин приказал остановить откочевки!

неохватная. Бездонное чистое небо. Вековая, отстоявшаяся тишина. Приятный сердцу давно позабытый покой, глубоко проникающий в душу. Стрекот кузнечиков. Фыркание лошади.

Балкия лежала босая. Подол вышитого по краю платья задрался, обнажая белые тугие икры... Пятки касались мелкого, чистого, словно мука, песка. Сердце заходило в стуже; снимая шекпен, он остановил взор на лице Балкии. Ее губы слегка открылись, словно опаленные жаждой, глаза заволакивались негой. На шее под нежным подбородком едва заметно пульсировала жилка... Булыш забыл обо всем. Подался к ней, да и она сама устремилась навстречу. Крепкие объятия Балкии как тиски, Булыш в них едва не задохнулся... Шалаш был тесен для них, и они выкатились на песок.

Осеннее небо высокое, чистое. Тишина широко раскинула крылья над необъятными просторами.

После полудня Булыш и Балкия принялись хозяйствовать. Балкия поднимала юрту, а Булыш рыл колодезь. Вода появилась лишь к вечеру на глубине трех саженей. Когда с хозяйственными делами было покончено, он, взяв капкан и ружье, отправился на привычный с детских лет промысел.

3

В аулах опять суматоха. Что ни вечер – начинается собрание. Каждый вечер кипит перебранка до хрипоты. Мордуют один другого, разделившись на группы: так что кто-то «кулак», кто-то «прихвостень», кто-то «голоштанник». Уполномоченные всех рангов прочесывают аулы вдоль и поперек. Безграмотный люд взирает на них с разинутым ртом, ибо не знает, кого слушать.

Последний уполномоченный, с которым аулу у Жылыбулака пришлось иметь дело в отсутствие Шеге – он тогда в операции по поимке беженцев участвовал, – не кто иной как Бухабай. Сейчас его все кличут уважительно – Буха¹. Он оставил милицейскую службу – стал уполномоченным, лицом, который народу путь в будущее должен показывать...

День был обычный. Как всегда, кипела работа, народ делал кирпичи – так-тук... так-тук... Во время вечерней молитвы, неурочное как будто, со стороны холма Хан-торткыл показался одинокий всадник. Судя по всему, он не спешил, он даже, кажется, подремывал в седле.

– Ну, парень, беги скорей! Встречай! Это Буха! – велел Козбагару Шарип, посмотрев на дорогу, и от волнения затеребил козлиную бородку.

Козбагар изменился в лице. Растерялся, засуетился. Однако, куда денешься? Спотыкаясь, трусцой побежал к всаднику. На старом рыжем мерине с отвисшим брюхом и в самом деле ехал Бухабай, ныне безобразно раздавшийся, похожий на бурдюк: жирный кабаный загривок – в складках, узенькие глазки заплыли, ничего не видят они. Казалось, Буха в самом деле спит. Не ответил он на приветствие запыхавшегося бедного Козбагара, но тот привык сносить все. Готов во всем угождать важному гостю, путаться под ногами, стелиться перед ним, поддакивая: ага, ага!

Бухабай издал горловой звук, потянулся, протяжно зевнул. С большим трудом стаскивая с коня жирный зад, молвил:

¹ Буха – с одной стороны уважительная краткая форма имени у казахов, с другой стороны просторечное слово – бык.

– Собрание бы надо, с ходу...

«С ходу» уполномоченный произнес по-русски. Для Козбагара это подчеркнуло лишь важность момента, и он закивал головой. Нынешний Бухабай разве прежний Бухабай? С тех пор, как стал уполномоченным, он сильно изменился. Разговаривает с Козбагаром, которого знает с детских лет, словно впервые видит его, лишь ленивым шевелением губ. Невнятно мыча, скупясь на слова, он управляет Козбагаром одним лишь движением бровей.

– Хорошо, Буха, я сейчас...

Понесся запыхавшийся Козбагар собирать народ... Выпятив живот, стоит колченогий Буха, выпускает клубы папиросного дыма изо рта.

– Так, табарыши! – начал уполномоченный, когда народ собрался. – На повестке дня у нас – частный собственник. Наш кровный враг сегодня – частный собственник, табарыши! У кого частной собственности много, тот бай, кулак! У кого частной собственности поменьше – тот середняк! Ну а у кого вовсе собственности нет, тот – настоящий батрак... От так! Кто сатселизм¹ строит? Батрак строит. Поняли? От так! Такой порядок.

– Ай, золотые слова! Ай, долгожданная речь! Пай! Пай! Вот мудрость нового времени! Дави! Жми! Не жалеи! – это рукоплещет Шарип. Он сидит в первом ряду.

– Та-ак, – продолжил Бухабай, вдохновленный. – Если мы, едриттимат, частного собственника не уничтожим, в корне не уничтожим... мы вперед не пойдем. Не сможем. От так! Калашников так сказал. Долой частную собственность! Долой тыбая-мая! Да здравствует каллектеп! – и захопал.

Его поддержали, дружно захопали. Бухабай перевел дыхание, вытер огромным носовым платком потный загривок. Наклонился к уху Козбагара, шепнул: «Где бы чайку попить, а?..» Понял Козбагар – надо закругляться. Вскочив с места, пожал руку уполномоченного, от имени аула Жанажол, взявшего курс к новой жизни, поблагодарил за содержательное выступление и заверил в заключение, что члены его «каллектепа» с честью выполнят поставленные перед ним задачи.

Когда же они остались одни, Бухабай сказал, ткнув парня в бок:

– Веди-ка меня теперь за хороший дастархан!

Козбагар задумался, глаза его забегали.

– И чтоб девка в доме была, слышишь! – двойной подбородок Бухабая заколыхался в похотливом смешке. Козбагар почесал затылок. Был в ауле середняк по имени Жумаш. И девка у него как раз на выданье – Наркыз. Как удачно Козбагар про Жумаша вспомнил!

– Идемте, Буха...

Дом Жумаша подходил для таких гостей. Козбагар повел уполномоченного через аул.

Высокий худой хозяин, завидев гостей, торопливо поднялся с голопузым мальцом под мышкой. Наркыз, как положено, постелила им на гостевом месте одеяло. Она кирпичи во дворе формовала, к их приходу была в рабочей одежде. Сапоги и шаровары не красили ее. Напротив, огрубляли и без того крупную фигуру. Уполномоченный, настороженно следя за движениями девушки, нахмурил брови. Потом недовольно глянул на председателя: другого, дескать, дома не нашел? Чувствуя себя неловко, Козбагар неуклюже затоптался на месте. Наркыз

¹ Искаж.: социализм.

тем временем, унеся самовар, вернулась. Теперь на ней красное ситцевое платье, темно-коричневый плюшевый камзол, на шее бусы, на руке браслеты. Помылась, естественно, причесалась. Девушка как девушка. Буха, позабыв про хозяина, сразу переключил свое внимание на нее. Его глаза заблестели, он начал посмеиваться. Настроение его явно улучшилось. Как есть Буха! Козбагар успокоился.

Через некоторое время они простились, условившись, что Бухабай заночует у хозяев, а Козбагар зайдет за ним утречком, чтобы проводить.

Хозяин Жумаш оказался не в меру многословным жалобщиком, весь вечер на неурядицы сетовал, чем окончательно утомил Бухабая. Он – гость, что же ему остается? Слушает хозяина, хотя тот его раздражает. Время нынче такое – все сетуют. Не найдешь дома, где бы хозяин не плакался; всех доконали налоги. Бухабай давно привык к подобным излияниям.

Когда Наркыз, позванивая шолпами в косах, принялась разбирать постель, Бухабай обрадовался. Гостю положено прогуляться, пока хозяева готовят постель. Очутившись во дворе, он с удовольствием перевел дух, жадно вдыхая прохладный воздух. Ночь была темная, в сплошных тучах. Перед глазами стояла девушка в приталенном камзоле, чуть, может быть, крупноватая для него, но молодая, хорошо сложенная, с красивыми руками и ногами. И какая воспитанная! Слова за вечер не проронила! Только с матерью о чем-то шепталась. За весь вечер ни разу прямо в глаза не посмотрела. И тем самым зажгла его душу. И осталась для него загадкой. Надо перемолвиться с ней. Кажется, она не против.

Лампу погасили, тьма была крошечная. Наркыз куда-то вышла, да вскоре вернулась. Заперла дверь. Позванивая шолпами, прошла к постели в правой части дома. С маленьким братишкой, похоже, ляжет. Родители – на левой половине дома. Бухабай – в центре, на почетном месте. Темно – хоть глаз выколи. Но для Бухабая мир озарен, он различает притягательный силуэт девушки, раздевающейся у постели. Тесно сердцу в груди от запаха духов, который он улавливает, кружится голова. Девушка быстро скользнула под одеяло. Ни звука, ни движения, даже дыхания не слышно. О, какое мученье это для Бухабая!

Лениво лаяли аульные собаки. Но вскоре затихли и они, словно глотки им кто песком засыпал. Засопели хозяева. Девушка лежала без единого звука. Не иначе его, Бухабая, ждет. Умница! Два-три последующих часа ползли как годы.

Крепко спали родители девушки, то и дело невнятно бормоча что-то во сне. Хоть топай – не проснутся теперь. Пришла пора действовать! Через дыру в кошме виднелся кусочек неба; тучи, надо полагать, рассеялись. Небо настроило Бухабая на лирический лад: если сейчас – непременно сейчас! – он не окажется рядом с ней, жизнь для него потеряет смысл! Скатившись с постели, на четвереньках подобрался к постели. Завладевшая его думами девушка, раскинувшись, лежала на спине, лицом к нему. Одна коса свесилась с подушки. Левая рука – в браслетах и кольцах – поверх одеяла, на чуть вздымающейся от дыхания девичьей груди. Не зная, что делать, на карачках застыл Бухабай у девичьего ложа. Наркыз, к его огорчению, спала, видимо, не дождалась его. Подумав, взял ее за руку. Горячая рука. Чуть сжал ее, чтобы проснулась. Девушка пробудилась, подняла голову. Затем отдернула руку. Бухабай увидел испуг в ее глазах.

– Что нужно? – спросила она. Жестковато спросила.

Бухабай опешил. Как это – что нужно?! Уж не заносчивая ли она? На его горячее чувство словно ушат ледяной воды вылили.

– Это же я... Вы не пугайтесь, – пояснил он, дрожа. Срам какой! Он, Бухабай, представитель власти, дрожит?!

– Ну и что же, что вы? Ступайте на место!

– Наркыз! Слово у меня к вам. С малых ваших лет до сих пор не видел вас. А увидел... Поймите, я не забавы ради... я серьезно. Если вы не против, я бы хотел, чтобы вы стали мне жен...

– А когда это вам пришло в голову?

– Когда? Ну как... А сегодня вот, увидел, решил...

– Не спешите. Подумайте... Потерпите... Как бы не пожалели потом.

В ее голосе была ирония, а распаленный Бухабай подумал – потеплела она к нему, раз жениться пообещал. Теперь это обещание следовало подкрепить объятиями или хотя бы поцелуем.

– Я, милая, серьезно, – зашептал он жарко. – Уж одну-то девушку я сумею сделать счастливой. Только вы мне не отказывайте...

– Ну и что, по-вашему, делать надо, не отказывая?

– Да ничего. Ровным счетом ничего, милая, – с этими словами он ее облапал. Девушка беспомощно завертела головой, пытаясь вырваться из его объятий.

– Голубушка моя, любовь моя, душа моя... – твердил Бухабай. Он прижимал ее к себе, осыпая лицо поцелуями. Во рту у бедняги пересохло, как от великой жажды.

– П-пустите, – шипела она.

Это еще больше распалило Бухабая.

– Ты не бойся, я женюсь, – захлебывался он от нетерпения, наваливаясь на нее грузным телом, опрокидывая на подушку.

Что удивляло – она не кричала. Сопротивлялась молча, упираясь крепкими руками ему в грудь, вот оторвала его от себя. Какие же сильные у нее руки! Держа правой рукой его подбородок, все отталкивала и отталкивала Бухабая. И сколько не силился он коснуться ее высоких грудей, его голова всякий раз упиралась в ее локти и соскальзывала в сторону... Некоторое время они боролись молча. Сталкивались локти, плечи... Мало-помалу Наркыз начала высвобождаться. Самолюбие в нем выиграло. Это что же? На соплюху его не хватает?! Зло мотнул головой – девичья рука соскользнула с подбородка, но к этому времени и девушки-то на постели не было – скатиться успела. По инерции он качнулся вперед, зацепил ее за рубашку, потянул к себе, да ногой – будь она неладна! – куда-то угодил. Заверещал ребенок, братишка Наркыз. Бухабай тянул девушку в постель – не отступить же? – но его чем-то стукнули по лбу – искры полетели из глаз - и он ретировался – нырнул к себе под одеяло.

Мальчишка воплями поднял всех на ноги. Наркыз принялась успокаивать брата.

– Что случилось, Наркыз? – спрашивала мать.

– Ничего, – коротко ответила дочь.

...Козбагар, бедняга, до утра не сомкнул глаз, боясь проспать рассвет. Еще в потемках, не вытерпев, он вышел во двор, посмотрел на жумашевский дом. Рыжий, с прогнувшимся хребтом мерин Бухабая был вчера привязан за юртой. Он исчез. Козбагар перепугался. «Пропал! – подумал. – Проспал». Побежал было к дому Жумаша, да заметил вовремя – кто-то, держа путь к увалу, удалялся от

аула, нахлестывая лошадь. Это был уполномоченный... Жумаш в тот день сказал Козбагару:

– Я против гостей ничего не имею, браток, но... но... вчера ты привел ко мне козла!

Козбагар со стыда чуть сквозь землю не провалился.

4

Последние дни Шеге стал поздно приходиться домой. Шарип лежал у стены, уже засыпал, когда его разбудило чье-то бормотание. Жайбаскан, оказывается, бодрствовала.

– Ты о чем, муженек, думаешь? – спросила она. – Сын-то у тебя – жених.

И – сна как не бывало. Шарип схватился за жиденькую бородку, поглядел на звездное небо сквозь дыру в кошме.

– Э, он же комсомол нынче, самостоятельный. Почем мне знать... Сам подумать должен...

– Сам, – Жайбаскан вздохнула. – То-то, что сам. Все испортит, коли сам...

Шарип резко поднялся, уставился на жену. А та ему:

– Путается он с сучкой этой. Торка апа сегодня прибежала, опять ругалась, шумела.

– От балбес! От головорез! – вскипел Шарип и сокрушенно покачал головой.

– То-то удивлялся я, что, этот головорез тихий такой ходит, а он вишь, что надумал!.. Где он? Ах головорез!..

– Нету его. Времени, знаешь, сколько? А его все нет.

Аул спал. Собаки на своих не лаяли. Никто не нарушал тишины. Редкие звезды на небе ежились от холода.

...А в это время двое всадников рысью продвигаются по безлюдной равнине. Держат путь по Полярной звезде. Оба безмолвны. В жизни Хансулу не совершала подобного приятного путешествия. Чувство, которое она испытывает, омывает душу, как молочно-белый рассвет, который уже занимается над степью. Жадно обозревает она пробуждающуюся ото сна степь. До чего широк, до чего великолепен мир! Косули, завидев их, срываются с белесых такыров. Вспархивают из-под ног лошадей рябчики.

С восходом солнца иней, покрывавший траву, растаял, смочил конские копыта. К полудню Хансулу, утомленную однообразием езды, стало клонить в сон.

– Передохнем, если тебе спать хочется, – предложил Шеге. – И лошади передохнут.

Хансулу согласилась. Остановились у южной стороны глинистого обрыва. Лошадей пустили пастись в логу, где была трава, стреножили их. А сами как были, в одежде, прилегли под караганником, под голову подложили коржун. Но сон не шел на глаза, будто и не разморило их только что. Шеге крепко обнял невесту. Хансулу, в красном приталенном камзоле, обмотанном кушаком, в кожаных шароварах лежала неподвижно, вытянувшись во весь рост. Не приняла она ласк джигита. Отодвинулась. Дрогнули ее длинные ресницы, недовольно сошлись брови.

– Сулу! – засмеялся Шеге. – Сулу!

Сулу промолчала. Посмотрела на него в упор.

– Мы теперь с тобой – супруги.

– Кто тебе сказал? – В голосе девушки послышалась усмешка.

– Я сказал.

– Супругами только после обряда-неке становятся. Запомни, – серьезно сказала она.

Шеге почувствовал, что потерпел поражение. Спать по-прежнему не хотелось, и оба снова сели на лошадей.

5

В Наркамысе Хансулу и Шеге сняли комнату у одинокой старухи, чей дом находился на берегу реки Жем. Днем Шеге пас коней, принадлежащих государственному учреждению. По вечерам они с супругой ходили на курсы ликбеза. Однажды вечером, отогнав коней на выпас, что на берегу реки, Шеге стоял, глядя на вечерний аул, погружавшийся в сумерки под бубнеж радиорепродуктора.

Супружеская жизнь Шеге и Хансулу началась счастливо. Их любовь теперь, когда они были вместе, вспыхнула с новой силой. Оба умирали от тоски, если не видели друг друга хотя бы полдня. Хансулу словно впервые открыла для себя Шеге. Самые лучшие мужские черты будто воплотились в Шеге.

Вне себя от счастья был и Шеге. Еще бы, самая яркая звезда, сияющая среди множества других звезд, оказалась в его руках. И он упивался этим. Еще бы – Хансулу, красавица с громким именем, известная на весь край, – его жена. Как только он начинал думать о том, что у них нет своего дома и имущества, терял покой. Он побаивался и того, что Хансулу попадет в поле зрения какого-нибудь городского прощелыги, модно причесанного, имеющего и дом, и хорошую работу. Поэтому, как только угонит Шеге лошадей на пастбище, он только и думает о том, чтобы поскорей домой вернуться и снова увидеть свою ненаглядную.

Сегодня он вышел к поселку со стороны реки. Небо было в тучах, вечер опустился рано. Скот возвращался с выгона, в каждом дворе обычная суета. Шеге не увидел Хансулу перед домом. Заперев лошадей в конюшне, пошел домой. Сапоги на ногах тяжелые, да и телогрейка ватная не легче, перепоясан он простой бечевой. Обветренное, загорелое лицо хмуро. Приземистая мазанка глуховатой старухи была на самом краю аула у реки, Шеге шел мимо дома со стороны сарая. За домом – улица. Вдруг у дома на улице он увидел капот машины. Он увидел и Хансулу, она стояла, наклонившись, у дверцы машины. Шеге замер, как вкопанный. Не успел он прийти в себя, как из машины высунулась мужская голова, и Хансулу втянули за руки в салон.

Шеге застыл там, где стоял. На минуту он будто оглох. Щеки горели. Дикое, незнакомое по силе чувство полыхало пламенем, опаляло нутро, яд ревности помутил сознание. Машина же тем временем тронулась. Гур-р – и нет ее. Отравленному ревностью Шеге Хансулу теперь показалась самой глупой, самой легкомысленной на свете женщиной! Выходит, он – дурак из дураков, если женился на такой вертихвостке! Небо полетело кувырком, земля уходила из-под ног... Необычно вялый, он прошел в кухонку, потом в свою комнату... Сгорбленный, замер у печи. Поглядел на ситцевый в красную полоску занавес, он отделял их угол, вмещавший только одну постель и бывший их раем. Там супружеское ложе, на котором соединялись они в объятиях, шептали особенные сладкие слова... голова кружилась от счастья. Словно сгорело то ложе.

Его чистое чувство предано. Он обманут... Жестоко обманут. Шеге застонал, не в силах выносить сердечной муки. Рухнул как подкошенный на половик. Снова застонал, зло, надрывно, как раненый зверь. Тут кто-то стремительно влетел в чулан. Следом распахнулась дверь. Появилась Хансулу – сияющая, с пылающими щеками.

– Шеге! – воскликнула она обрадованно. – Ты пришел?

Веселая Хансулу. Конечно, поухаживали, да и кто – какой-то ученый джигит! Как ей не быть веселой?.. Молчит Шеге. Надулся, от злости лопнуть готов.

– Шеге! Так интересно! Я прокатилась на машине! – объявила, звонко смеясь, Хансулу.

В комнате было темно. Хансулу не заметила состояния Шеге.

– Тронулась она, а я со страху за железку какую-то хватать! Ибрагим кричит: «Не тро-онь!» Оказывается, схватилась за ту самую железку, через которую машина с места трогается. Откуда мне знать? А Ибрагим так смеялся, так смеялся...

Ибрагим – молодой татарин, личный шофер Калашникова, по городской моде волосы зачесывает. Все знает, все умеет, на все руки мастер. С таким не соскучишься. Понятно, отчего такая веселая жена. Ей, наверное, и машина приглянулась, и Ибрагим. Зачем ей Шеге, простой табунщик, плетущийся за хвостами лошадей?

– Шеге? Что с тобой? Что ты молчишь? – спросила Хансулу и, сев перед ним на корточки, заглянула в лицо. Смеется. Быть может, над ним смеется?

Пощечина получилась увесистая. Крепкая у Шеге рука. Хансулу, откинувшись назад, упала на ковер. Темно, но Шеге увидел, как блеснули ее глаза. Импульсивно согнувшись, прижала руку к щеке.

– За что-о? – вскричала она, пылая от негодования. Горящими глазами вот-вот сожжет Шеге.

– А ты не знаешь?! – еще сильнее вскричал Шеге.

– Не знаю! Не знаю! – Захлебнувшись слезами, Хансулу бросилась из комнаты. С порога крикнула: – Дурак!

И хлопнула дверью. Возвратилась старушка, они с Хансулу в тесном чулане столкнулись.

– Что такое? – всполошилась хозяйка, приостанавливаясь у порога.

Хансулу умчалась, ничего не сказав. Старушка прошла в дом. Было темно и тихо.

– Ойбай! Бог в помощь! Что это вы? И лампу не зажгли...

Ответа не последовало.

– Сынок, что случилось?

Старушка завозилась у печки – спички искала, что ли.

Шеге молчал. Темная комната показалась ему тесной ловушкой. В ней стало душно. Ринулся на свежий воздух. Над аулом стустились сумерки. Прохлада ночи несла с собой тревогу. Час поздний, люди, заперев скотину в сараи, собираются вокруг очагов – в тепле, при свете. Шеге же как перст в полном одиночестве. Пестрый щенок, словно сочувствуя ему, заюлил, завилял хвостом, в глаза заглядывал. За плетнем, которым обнесен дом, никого нет. Он искал Хансулу. Но она пропала. Мир, трещавший по швам, рушился на глазах...

В голове была сумятица, ни на одной мысли не мог сосредоточиться. Сам не знал, как, обогнув забор, пошел к реке. Шел понурый, с опущенными плечами.

Пестрый щенок, словно понимая, что с ним творилось, увязался за ним, жалобно скуля под ногами. Жар в голове мало-помалу стал угасать, и Шеге попытался восстановить в памяти случившееся.

Он остановился и посмотрел на небо. Оно было обложено тучами. Сумрачное, тяжелое небо. Остановила его мысль, его ужаснувшая: «Кто я? Никто! В душе я не революционер. Не комсомолец. Я просто несчастный приспешник, орудие в чужих руках. Приспешник!» И ему до боли стало жалко Хансулу, которая доверилась ему, как сознательному человеку, активисту. Его ожег огонь раскаяния.

– Хансулу! – позвал он. И, тяжело топая, побежал. Присел, взгляделся в наступившую уже темноту. Никого. Может, зашла к кому из знакомых женщин? Она уже десять дней работала на складе, в сменной бригаде. Ай, вряд ли. Хансулу слишком горда, не станет она искать утешения. Шеге бегом вернулся, опять обошел сарай, дом, оглядел плетень.

– Хансулу! – голос его канул в темноте. Подать голос сильнее – стыдно. Что скажет людям? Порыскав возле дома, опять побежал к реке. Щенок с тонким лаем бежал следом. На этот раз он дошел до самого берега. Кто знает, быть может, избалованная, своевольная дочь Пахраддина в горячке обиды кинулась в воду?

Вгляделся в реку. Гладь воды и тишина.

– Хансулу!

Глухая ночь. Глухая река. Непроницаемая темень будто поглотила Хансулу. А может, она речку перешла и напрямик побежала домой?

Щенок, крутившийся рядом, исчез. Не стало слышно его повизгивания. Потом донесся его лай с верхнего течения речки. Вскоре щенок и сам объявился, язык от возбуждения свесился из пасти. Стал путаться у Шеге в ногах, хвостом по земле застучал, словно звал его куда-то. Шеге побежал за ним. Еще издали на песчаном холмике, в самом центре, он различил человеческий силуэт. Подошел ближе. Хансулу сидела спиной к нему в белом платье. Ноги под себя поджала, словно мулла, который молится в сторону Кыблы¹. Обрадовался Шеге, что нашел жену. Тихо опустился рядом. Шлепалась о берег волна реки Жем. Оба молчали. Только щенок ластился к ним, подавал голос:

– Ауф! Ауф!

– Сулу! – позвал он. Хансулу не шелохнулась. Смотрела в ночь, будто и не было рядом Шеге.

– Ладно, виноват я...

Хансулу глуха.

– Пошли домой. Небось, замерзла уже...

К Хансулу вернулся дар речи.

– Можешь не жалеть! – отрезала она.

– Сидеть, что ли, вот так будем?

– Уйду я!.. Не буду с тобой жить!

– Ночью?.. Давай уж завтра, с солнышком.

Хансулу надулась.

– Села в чью-то машину... Сняла жаулык². Как это понимать?

Хансулу прорвало:

¹ Кыбла – направление в сторону Мекки.

² Белый платок замужней женщины.

– Сам же кричал: мужчины и женщины равны!.. Слабода! А если бы я тебя ударила за то, что сел в машину?

Шеге смешался. Хансулу была права. Да, кричал он про равенство, но думал ли тогда, что равенство, которое он так горячо отстаивает, когда-нибудь ему самому выйдет боком! Задала ему задачку Хансулу, не знает, что и ответить. Злиться начал.

– Что молчишь? – всюю наседала Хансулу.

Шеге вспыхнул:

– А ты, ты... ты чья жена? Моя или... или слабоды...

– Твоя, конечно, – растерялась Хансулу.

– Вот и хватит болтать!

Хансулу молчит. Долго они сидели еще в полнейшей тишине. Щенок разлегся перед ними, мордочку на песок положил, глядит на них выжидательно, будто спрашивает – когда ваша ссора закончится?..

Со стороны аула послышался крик старухи:

– Хансулу! Шеге!

Нехотя поднялись. Молча побрели назад. Щенок, обрадованный, помчался к дому.

СМУТА

1

Сильный, с завываниями, ветер преследует по пятам, гонит вперед, заставляя ежиться от холода. Путники – кто на конях, кто на верблюдах – трясутся по дороге из Наркамьса в Ханторткил. Они продвигаются к югу. Последним, поотстав, на игреневом пятилетке тащился Жорга Курен.

Сегодняшнее собрание решительно не понравилось Жорга Курену. Калашников встал и заявил:

– Кулаков как класс уничтожим!

Будто мало до сего времени уничтожали. А какой лозунг кинул:

– За неделю кочевые аулы на оседлость переведем! Полная и всеобщая коллективизация, товарищи! Единоличникам среди нас нет места! Пусть мы и кочевой район, а закончим эту кампанию раньше России!

Некто Суранышев вскочил с места и во весь голос завопил:

– Семен Харитонович, вы правы! Мы обгоним в коллективизации Россию!

Горе-активисты, вроде Шарипа, давай хлопать и орать:

– Верно! Золотые слова!

– Ускорить надо коллективизацию!

– Что ее на три года размазывать?!

Жорга Курен, сидевший на заднем ряду, усмехался про себя. Вот народ! Ну что ж, делайте, как знаете...

Недотепу Козбагара на конференции отстранили от должности председателя артели, направили на учебу. Жорга Курену захотелось посадить на место Козбагара своего сына Ждахая.

Жорга Курен, засучив рукава, принялся было за осуществление своего плана, начал убеждать знакомых. И тут увидел рядом с председателем райисполкома... самого Шеге. Подозрения его оправдались: когда конференция заканчивалась,

Афанасий Гринин объявил, что председателем в артель Жанажол направляется член комсомола Шеге Каспаков. Мало того, этот непутевый парень, сидя рядом с Апанасом, тут же написал заявление о приеме в партию. Стало понятно, с чьей подачи все это делалось...

...Свистящий ветер погоняет в спину. Небо обложено тяжелыми тучами. На ворчуне-верблюде рысит-покачивается возбужденный Шарип, ветер треплет концы его треуха. Настроение у него хоть куда, ведь сын и невестка рядом с ним. Он что-то напевает. Слыша его голос, Жорга Курен внутренне подбирается, на губах у него, как всегда – язвительная усмешка.

2

Свадьбу справили в доме Шарипа. Хансулу была счастлива. Но не успел и день пройти после свадьбы Хансулу и Шеге, как мирная жизнь аула опять была нарушена суматохой. Опять приехали уполномоченные. Аульные активисты сели на коней, и началась скачка туда и сюда. У всех на устах одно, точно сговорились:

– Долой кулаков!

– Даешь стопроцентную коллективизацию!

– Срок – неделя! Таков план!

– Кто подчинился – тот свой! Кто не с нами – того заставим быть с нами!

Народ пугливо затаился. Кому охота в кулаках оказаться? Старики и старухи молились: «О, Аллах, пронеси! О, Аллах, спаси!»

С сумерками, ближе к ночи, в Жанажол с топотом примчался на саврасом жеребце грузный черный мужчина с заплавленными глазами, бугристым носом. Был он хмур, точно зимняя вьюга. Жорга Курен засуетился у стремян его лошади, хотел помочь гостю спешиться. Прибывшим уполномоченным был старый знакомый Бухабай. Бывало, обычно подремывал в седле, а тут – ни дать, ни взять новый человек! Непривычно деловой. Энергичный. Но лицом уж больно темный, точно пожар где-то тушил.

– Давай, табарыш аулнай, собирай народ! С ходу! Живо! – ворчал он, мешая по обыкновению русские и казахские слова, что лишний раз говорило о значительности его визита.

– Оу, Буха, сначала бы, как говорится, в дом, перекусили бы, – Жорга Курен, как всегда, попытался заманить важного гостя за стол.

– Какое угощение?! Ты что, табарыш?! – рявкнул уполномоченный, гневно сверкнув глазами. – Некогда мне с вами тут шалтай-болтай!

Грозный вид представителя власти напугал Курена, он залебезил:

– О, Буха, вы правы, правы. Я сейчас, – и побежал к своему дому, крича на ходу: – Ждаха-ай! Выходи!

Люди потянулись к кирпичному зданию с вывеской «Школа имени Асана Айтжанова». Положив обе руки на стол, покрытый красным сукном, сидел угрюмый Бухабай. Мрачно смотрел он на народ, вливающийся в помещение. Уполномоченный был сильно раздражен: едва сдерживал гнев на этот невежественный недисциплинированный народ, который все еще тянется... Устал Бухабай. Вот уже два дня он в седле без сна и покоя. Разве поймет это люд? Где ему? Не только не понимает, но еще катит вдогонку доносы, дескать, водку жрет, пристаёт к нашим дочкам. «Если не есть, не пить, – ради чего тогда носиться

день-деньской? Пристает к дочкам? – но какой молодой казах не бегаёт за девушками?» – думал Бухабай.

Школа заполнилась до отказа. Глаза Бухабая сразу выхватили в зале красивую молодку, гибкую, стройную. Румянец на щеках, длинные ресницы, поднимет их – так глаза блеснут, точно звезды в ночи. Это небезызвестная Хансулу. И Наркыз он увидел. Стоит ему про ту кошмарную ночку вспомнить, чувствует себя он так скверно, что готов сквозь землю провалиться – не от стыда, нет, от досады. Лицо его еще больше почернело от злости, покрылось пятнами. «Открывай, открывай собрание!» – затормошил он Жоргу Курена. Никогда он не забудет крепкий кулак Наркыз, пригвоздивший его нос. Бухабай Игенсартов подобного позора в жизни не изведывал!..

– Товарищи! Успокойтесь! – засуетился Курен. – Сами себя задерживаете. Итак, общее собрание аула Жанажол предлагаю открыть. Надо, товарищи, избрать председателя собрания.

– Есть предложение! – сорвался с места Ждахай, он сидел в первом ряду.

– Говори!

– Предлагаю избрать председателем собрания аулная, а в помощники ему – председателя нашего товарищества Каспакова Шеге и активиста-бедняка Каукаша!

– Эй, Каукаш, проходи! Твое время!

– Зажги собрание! – послышались насмешливые голоса.

Уполномоченный вновь буркнул:

– Из женщин бы кого... Женщину в прездем!¹

– Товарищи! – поспешил исправить оплошность аулной Жорга Курен. – Есть предложение. Забываем о важном вопросе, о товарищах – женщинах. Пусть Шеге обождет. Предлагайте-ка вместо него женщину, ну!

– Хансулу вместо него! – опять сорвался с места Ждахай.

– Э, что ж! Пусть она, – согласился аулная.

– Ойбай, молода же еще, – воскликнула какая-то старуха.

– Молодых и надо поднимать! – оборвал ее Бухабай. – Такая политика.

Жорга Курен не замедлил спросить:

– Кто за то, чтобы названные товарищи были избраны? Поднимите руки!

Дружно подняли руки. Одна Торка, глядя исподлобья, не подняла. Бухабай указал на нее подбородком:

– Вон там не поднимают...

– Женеше, не делаете ли вы из мухи слона? Объясните, женеше, – распелся Жорга Курен, очень довольный тем, что кто-то оказался против.

Торка, покачнувшись, встала. Люди, шумевшие было, притихли, повернулись к маленькой, желтолицей старухе.

– Пропади она пропадом! Против я! Вот так! – сказала она и махнула рукой.

– Ойбай, женеше, – залился мелким смехом Жорга Курен, – а понятнее нельзя?

– А куда понятнее? Это она, Хансулу, там сидеть будет?

– Да, Хансулу!

Торка блеснула глазами, подбоченилась:

– Сабетски бласты в этом ауле есть или нет?

– Ойбай, есть, женеше, бог с вами! Кто это сказал, что нет?

¹ Искаж.: президиум.

– А ты не веселись! Если Сабетски бласты есть, откуда, скажите, закун, чтобы байско-кулацкая дочь, как это... в прездеме сидела? Вот ты, Курен, и объясни, не ухмыляйся...

Бухабай настороженно поднял голову.

– Кто это – табарыш Хансулу? Покажитесь, – попросил он гнусаво, делая вид, что не знает, о ком идет речь.

Люди дружно оглянулись. На задних рядах сидели одни женщины и девушки. Смущенная, скрывающая лицо уголком платка, Хансулу была среди них. Верещага Шарип не выдержал, заерзал на месте.

– Поднимись, келин, покажись людям, – попросил он.

Хансулу, медля, стыдливо поднялась. Щеки ее горели – от смущения и от обиды на Торку. Бухабай, оглядев ее, склонился к уху Курена. Тот незамедлительно встал и сказал нарочито громким голосом.

– Названных товарищей прошу пройти! И ты, келин, проходи! – сказал он, обращаясь к Хансулу. – Мы считаемся с мнением большинства, а не отдельных людей. Такой порядок.

Хансулу была рада, что взяла верх над Торкой, но и идти в президиум не решалась. Робела. Поглядывала на свекра со свекровью в передних рядах, будто разрешения у них спрашивала. Шарип, встрепенувшись, закивал:

– Иди, милая, иди. Так решило большинство.

И Жайбаскан благосклонно закивала.

Хансулу, смущаясь, пошла. Звенели-пели шолпы на ходу. Шла и чувствовала упорный взгляд уполномоченного. Это ее возмущало. Хотела сесть подальше, но Жорга Курен, холуйствуя, рядом с ним и пристроил ее. Разомлел дюжий Бухабай, завидев рядом горделивую красотку: словно райская птичка на ладонь к нему опустилась, сердце сильно забилося в груди. Аромат духов молодки опьянил его. Забыл он на миг и про народ, и про собрание, которое затеял, всеми его помыслами завладела Хансулу...

– Слово предоставляется товарищу Игенсартову!

Бухабай вздрогнул, будто его окатили ледяной водой. Встал. Холодно поглядел на людей, двойной подбородок отвис.

– Так-так, – начал он, несколько замешкавшись. – Все вы, конечно, о последних новостях в районе наслышаны. Рассказали, я думаю, табарыш аулнай и новый председатель товарищества Каспаков Шеге. Так вот – я вам скажу только суть дела. Самое главное скажу. Та-ак. Эта кампания – сырзьзна кампания. – И не слово, а целую фразу уже произнес по-русски: – Ошен сыльный палитишески знашени имеет. – И далее продолжил на смешанном языке: – Сегодня мы боржоев, которые, как пиявки, кровь трудового народа сосут, под корень рубим. Навсегда кулаков и прочую контру уничтожаем! Мы им так и должны заявить: собирайте манатки, убирайтесьоздорову, такой порядок. Верно я говорю? Вот так мы народ от контры освободим. Понятно?

Все знают, что значит русское «боржой». Никому неохота в буржуях оказаться.

– А кто боржой-то? – спрашивают.

– От-от! – вскинулся Бухабай. Ждал он, видно, такого вопроса. – От где проблема! Кто боржой, спрашиваете? Вот именно, кто боржой? – и вытаращился на всех так, что люди отвели глаза. – Мы с вами и должны найти, кто боржой. Найти – и срубить под корень! От так! Для этого мы и собрались. Такой порядок.

– Спаси аллах! – зашептались старики. – Кого еще искать?

– Сохрани, о создатель!

Испуганные голоса множились. Шум... гу-гу... Люди встревожены.

– Мы разве в прошлом году не прогнали... боржоя?

Это с места спросил длинный Уап. Складки у его унылого рта дрожали.

– Кто это? Стоя, прошу! – сделал замечание Жорга Курен. Сутулый, словно тень, Уап встал.

– Я не у тебя, а вот у табарыша хотел спросить, – он кивнул на уполномоченного.

– Кампеске в прошлом году была, так мы Мажана сдали. Бая. Тогда нам сказали, боржоя больше нету, с боржоями покончено. А что получается? Опять кого-то уничтожать? Боржой, они что, каждый год нарождаются?

– Кто это? – спросил Бухабай, кивнув на Уапа презрительно сморщенным носом.

– Ты что мелешь? – вспыхнул Курен. – Ты давай, что надо говори!

– Нет, я не шучу! – вскричал и Уап, тоже выкатывая глаза – они у него, как у козла. – Что, и спросить теперь нельзя? А если узнать хочу? Зачем район представителя посылает? Затем, чтобы он нам, неучам, разьяснял, разве не так? Ну, если надо, чтобы я молчал, пожалста, я кончил...

– Как фамилия табарыша? – строго спросил уполномоченный.

– Жартыбасов.

– Табарыш Жартыбасов! Та-ак, погоди. Сколько в ауле очагов? – погрозил пальцем Бухабай.

– Да больше сорока.

– Сколько еще не в артели?

– Да с пяток наберется.

– Так, та-ак, табарыш Жартыбасов! – протянул уполномоченный. – Хозяин одного такого очага, который еще не в артели, – Пахраддин. Так, табарыш?

Пахраддин, сидевший в задних рядах, заерзал. На него оглянулся почти весь зал. Уполномоченный продолжил:

– Пахраддин во времена царя Мекалая бием был – раз! Пусть не такой крупный, как Мажан, но тоже бай был – два! Батраков держал – три! Нет, скажете?

Никто на вопрос не ответил.

– Если бы Пахраддин был за Советски бласты, он бы давно записался в артель. Так или не так?

– Товарищ уполномоченный! – поднялся Пахраддин. На нем бобровая шапка, просторная мерлушковая шуба. – Я вас попрошу не извращать политику партии. Не такая политика партии!

– Та-ак. Объясните, в таком случае, – Бухабай угрюмо подался вперед, словно кабан, попавший в западню. Его маленькие тусклые глаза зло сверкнули.

– В коллективе не состою, верно. Но – не по своей охоте. Не берете. Но и газеты я читаю, господин уполномоченный. Сам Сталин сказал, что вхождение в коллективы – дело добровольное. Так что вины моей, что не в коллективе я, похоже, нет.

– Законоучитель, гляди-ка. Подумаешь... – буркнул под нос Бухабай, озлившись. – Хорошо, табарыш Пахраддин, допустим, ты не бинауат¹, что не в каллектепе, – он перешел на «ты». – А вот до кампеске у тебя более трехсот голов

¹ Искаж.: не виноват.

мелкого и более сотни голов крупного скота было, неправда это? И батраков держал. Тоже неправда?

– Под батраком, надо полагать, пастух разумеется, – возвысил голос Пахраддин. – А под пастухом – Козбагар. Ночь на дворе, лгать грешно; не просил я его быть пастухом. И тем более – не заставлял. Родители его тут, Уап и Торка, пусть скажут, если неправда. Они едва не пошли бродяжничать. В двадцать первом, сами знаете, голод был. Мы сказали: «Грешно обжираться в одиночку, лучше делиться едой со всеми». Давали: кому – коня, кому – одежду, кому – еду, ни один очаг в ауле не погас. Слава Аллаху, благодаря этому, все выжили...

– Верно говорит Пахраддин! – поддержали его.

– Правду би-ага сказал!

– Года три пас скотину Козбагар. Так за то, наверное, что кормился, одевался. И я теперь – виновный?! Уважаемые, пусть бог свидетель будет, что вы от меня худого видели, скажите? Должна же быть справедливость, – с трудом остановился Пахраддин.

– Ойхой, вот правильные слова! – не удержался Шарип.

– Верно!

– Тихо! Не шумите! – призывал к порядку Жорга Курен. Все смотрели на уполномоченного. Тот что-то сердито выговаривал Курену.

– Ты, табарыш Пахраддин, погоди минуточку, – уполномоченный в конце концов встал. – Ты понимаешь, что ты делаешь, табарыш Пахраддин? – Указательный палец представителя района повис в воздухе. – Ты мешаешь работать! Ты срываешь собрание! Это – саботаж! Это как раз по-боржойски. Ты дезорганизуешь работу. От так! Главное в нашей кампании – вовремя вот таких боржоев выявлять. Они-то и мешают нам строить новую жизнь. Потому мы от них должны избавляться. Должны вычищать свою среду от баев-кулаков, мулл-ходжей, им подобных чертей-сайтанов! Долой их! От так!

Люди заволновались, забеспокоились.

– От так! – войдя в раж, Бухабай вскинул вверх руку. – Район, возглавляемый табарышем Калашниковым, взял повышенные обязательства. «Хоть и отсталый у нас район, так как отдаленный, мы работу по очищению нашей среды от кулаков закончим за неделю, а всеобщую коллективизацию – за три месяца», – сказал табарыш Калашников. Не за три года, как сказано в плане, а за три, повторяю, месяца! Это, табарыши, большой переворот! За три месяца на оседлый образ жизни перейдем, будем один каллектеп! Вот так мы срубим под корень старую жизнь. От так, табарыши!

Ждахай, красный, возбужденный, высунулся вперед, яро захопал. Но его поддержали лишь несколько человек, в том числе и Шарип.

– Ай да слова! Жми! Не жалеи! – вопил он фальцетом.

– Сатсилизм, табарыши, на огненной арбе летит вперед к счастливой жизни! Поспешать нам надо, на верблюдах не угнаться нам за огненной арбой!

– Не угнаться! Надо вперед стремиться! Вперед! – подхватил Ждахай, потрясая кулаком.

– Я кончил, – сказал, садясь, Бухабай. Поглядел на Курена: – Дайте теперь табарышам беднякам слово!

Ждахай выступил. Как всегда, зажигательно.

– Верно табарыш уполномоченный тут говорит. Двенадцать лет уже, как пал царь и Сабетски бласты установилась. Все кругом меняется. Города, железные

дороги строятся. А у нас почему, зараза, ничего не меняется? Школу построили. Нарыли землянок. Хе! Смех да и только! Провались всё к черту, не в три года, а в три месяца у нас каллектеп будет! А что? Кто не захочет, силком толкнем!

– Табарыш, погоди! – Бухабай полез в карман. – Та-ак. Вопрос у меня. Список кулаков. Сам составил. По вашему старому списку, между прочим. Та-ак. Пахраддин первый, потом – Кулатай, в Ханторткиле он, потом идет Жумаш.

Народ опять заволновался, загудел. Жумаш – отец Наркыз, сидевший сзади взвился с места:

– Что-что?! Жумаш – кулак?! Ты не ошибся?

– Памиля¹ Койбасов? – уточнил у него Бухабай.

– Койбасов, ну и что? Клевета, браток, клевета. Не веришь, скотину посчитай в сарае. Какой я кулак?

– Та-ак. У тебя в сарае тридцать овец, шесть коз, три верблюда, если, конечно, верблюжонка считать, одна лошадь, так? – Бухабай вперил в Жумаша глаза-щелки.

– Да съели уже одну козу. Пять осталось, – защищался Жумаш.

– Погоди. У сестры в Донызтау – верблюдица с верблюжонком. Так? Скрыл от людей, сказал, якобы не твои они, – чем сильнее кричал Жумаш, тем упорней настаивал Бухабай.

– Да не скрывал я! Сам отдал. Без молока они! – отчаянно доказывал Жумаш.

– Этому мы не верим, табарыш! Так что не обессудь, мы все посчитали: ты, так сказать, на уровне кулака, если все сложить.

– Несправедливо! Ложь! Зря верблюдицу на меня записали. Обман! Клевета! У всех тогда считайте. И которая скотина в сарае, и которая у родичей! – бескровный, худой Жумаш махал руками.

– Жумаш, ойбай, при чем тут другие? – толкнул его кто-то.

– Других-то не пристегивай, – зашумели люди.

– Да вы что, я теперь – кулак?! – Обмякший бедняга Жумаш стал похож на обципанную курицу. Дочь Наркыз, сидевшая рядом, была бледна – она проклинала на чем свет стоит уполномоченного и ту злосчастную ночку, когда он к ней приставал. Никто в зале не осмеливался говорить. Тогда Жорга Курен повернулся к Бухабаю и, манерно растягивая голос, сказал ему:

– Разве не сидит среди нас Шеге, свеженький председатель артели. Почему он молчит? Вопрос злободневный, горячий. Или он не председатель? – сказав это, Курен, довольный собой, ухмыльнулся.

– Э, верно, пусть выступит. Послушаем, – согласилось большинство в зале. Улыбка, застывшая на губах Жорга Курена, взъярила Шарипа. Уж он-то понимал смысл этой улыбки. Под меня, гад, копаешь, ах ты дьявол, сети раскидываешь?.. Ах, бестия!

Когда Шеге поднялся, в зале стихло. Хансулу разволновалась. Что-то сейчас произойдет, показалось ей. Стало страшно. Хотелось убежать отсюда, от всех этих людей, грызших друг друга. Вон отец, потерянный, убитый сидит. Вон Шеге меж двух огней. Шеге, милый Шеге, не молчи! Единственная вера, единственная опора, Шеге, говори же!

– Как сказал табарыш уполномоченный, – сказал Шеге, выпрямляясь, огонь в глазах, – политическое значение кампании велико. Поддерживаю я, как председатель, политику уничтожения кулаков как класса.

Жорга Курен расплылся в улыбке.

¹ Искаж.: фамилия.

– Ты мне скажи, Шеге, – попросил он, подаваясь вперед. – Ты скажи, Шеге, Пахраддин – кулак или не кулак?

Довольно посмеиваясь, откинулся аулнай к спинке стула. Шеге с хрипом выдохнул.

– Кулак! – выкрикнул он зло. – Кулак! Это вы хотели от меня услышать?

Всё! Далее мир завертелся в сплошной кутерьме. Будто ветер раскачал собрание – в зале разбушевались страсти. Кто-то уже и кидался на кого-то, за тевалась драка. Хансулу зажмурилась. Потом она услышала голос свекра:

– Ты... чертов Жорга! Ты что смуту разводишь?..

Хансулу открыла глаза, а Шарип, вереща, расталкивая людей, пробирався к столу. Кому-то отдал по пути ногу, у кого-то шапку с головы смахнул. Вырвался к президиуму, трех здоровенный с головы стянул и кинул на пол. Пыль взметнулась до потолка. Уполномоченный вздрогнул. Жорга Курен почернел. Шарипу того и надо:

– Ты тут всё злодейство заворачиваешь... Ты – предатель! Кампанией, понимаешь, прикрываешься, чтобы народ сосать! Что, неправда? Середняк кулаком заделал. А я сейчас твое классовое лицо открою! Ты, ты – лис мажановский, ты, торгаш, все его байские дела на базарах обстрипывал. Говорил и буду говорить про твои дела! От так! Он тебя кормил, а ты Курен, его сожрал! Вот тебе и вся правда! – простоволосый, со вздувшимися венами на висках, Шарип орал, глядя прямо в глаза Жорга Курену.

– Верно! Верно говорит! – закричали тут.

– Чистая правда!

– Несправедлив аулнай!

– Каспаков, прекрати! – ударил кулаком по столу Бухабай. – Это саботаж! Прямой саботаж! Ты ответишь за это перед законом!

Народ продолжал шуметь.

– Несправедливо!

– Пусть аулнай всех не дурит!

– Чтоб отца твоего!.. Не побоимся крови!.. – засучив рукава, поднимались с места сорвиголовы, подобные Кисыкбаю.

– Каспаков, ответишь за саботаж! – ревел Бухабай. Шарип изогнулся и метнулся к нему. Хотя и щуплый был Шарип, но в гневе выглядел страшно. Глаза его, налитые кровью, лезли из орбит, жилы на висках набухли узлами. Казалось, он вцепится, и не отступит, пока не выпьет кровь врага.

– Я? Как бы не так! – Шарип, подступив чуть ли не к самому подбородку уполномоченного, заверещал: – Ты, сын Игенсарта, ты кого из себя корчишь? Да знаю я и тебя, и твоего дерьмового отца! Что ты тут трясеешь зобом, кого закуном пугаешь? Не тебе меня страшать. Что мы – слепые? Только и знаешь что по бабам шастать да водку хлестать. И еще закуну учишь меня?! Гляди, возьмемся за тебя скопом! Думаешь, управы на тебя не найдется? Знай, как Шарипа трогать!

– О, Шаке!

– Да здравствует власть бедноты!

– Вот так активист. Сказану-ул...

– Держись, бедняк! – свистел, орал народ.

Шарип поднял с пола трех, вытряс его, нахлобучил на голову. С чувством исполненного долга пошел, не оборачиваясь, к дверям.

– Ох, Шаке! Куда вы? Собрание еще не кончилось, посидите, – залебезил вслед ему Жорга Курен. И от этого заискивания авторитет Шарипа на глазах людей только вырос.

Тот лишь рукой махнул. Громко хлопнул дверью.

– От так! – констатировал кто-то.

– Что ему собрание? Человек на съезде был...

После ухода Шарипа собрание надолго не затянулось. Было решено, что кулаками являются Пахраддин и Кулатай, Жумаш был оставлен в середняках.

3

Снаружи непроглядная тьма. Ночь задалась ветренная. Хансулу видела, как ушел с собрания отец, и теперь, спотыкаясь, бежала к юрте на окраине аула. Все ее мысли – об отце. Ей хотелось поскорее добраться до него, посрамленного, униженного в глазах большинства. Каково теперь ему?

Подвывающий морозный ветер обжигает лицо, развеивает распахнутую шубу, норовит вытолкнуть в студеную степь. В ушах звучит: «Кулак! Кулак!» И кто ведь это сказал? Шеге. Ее вера, ее опора – Шеге... Это он так сказал! Чего, спрашивается, ждать от других? Одна надежда была у Хансулу и ее отца – Шеге. Погасла эта надежда. Одна опора – Шеге. Эта опора треснула. Обрушилось на голову небо. Пошатнулась под ногами земля. Что происходит с миром, что?..

Побрехивали собаки, гудел заунывно ветер. Не слышала Хансулу ни псов, ни ветра. Она слышала лишь собственный голос, повторявший смятенно: «Кончено все... Все погибло».

Из тундика одинокой юрты на окраине аула вылетали искорки огня. Хансулу, борясь с ветром, отбрасывающим ее назад, ошупью набрела на дверь. Дома было светло. Жарко горел очаг в самом центре. Отец сидел согбенный, лицом к огню. Справа от него – мать. Обо всем, похоже, переговорили они. Подавленно молчали. Испуганно вздрогнули, когда появилась дочь. Уставились на нее, удивленные неожиданным появлением. Белая шаль сползла на шею Хансулу, стояла простоволосая. В глазах – страх. То на мать смотрит, то на отца. Пламя гудит-шумит в очаге. Ветер воет снаружи, рвет кошму на юрте. А здесь – тишина: трое взрослых людей прислушиваются к гулу ветра и – молчат. Притихшие, как дети, внимающие тайнам ночи после страшной сказки. Мать, взяв кочергу, стала шуровать ею в очаге, разгребая угли. Пламя занялось жарче.

– Проходи, Сулужан, – сказала она.

Отец безучастно глянул на дочь и опять поник. Хансулу, бросившись к матери, обняла ее. Обняла и – разрыдалась. Пахраддин нахмурился. Но не шелохнулся. Орудя кочергой, которая была в левой руке, байбише правой погладила дочь по голове. Ни отец, ни мать не проронили ни слова, пока Хансулу плакала. Кто-то заскребся в дверь снаружи. Судя по тому, что Кутжол не залаял, это свой человек. Кто-то вошел. Домашние насторожились. Это был Шеге. Ища глазами Хансулу, он застыл у порога. Не зная, что сказать, Шеге затоптался на пороге.

– Я тебя искал, – пробормотал он, переминаясь на месте.

– Не искал бы! – отрезала Хансулу, обжегши его взглядом.

Не посмеяв поднять глаз, раздираемый противоречивыми чувствами, Шеге пробормотал что-то под нос и бросился к выходу. Широко распахнул тяжелую дверь, исчез.

Опять нависла тягостная тишина. Пахраддин все глядел на огонь, горькие мысли ворочались в отяжелевшей голове. О чем-то думая, изгибая свои красивые тонкие брови, помалкивала и байбише. Хансулу посмотрела вслед ушедшему Шеге... Гудел-потрескивал огонь в очаге. Выл снаружи ветер, рвал кошму. Его вой – как предвестие надвигающейся беды. Жутко от этого воя, беспокойно на душе.

– Сулужан! – спохватилась мать, вставая. – Иди домой!

Начала стелить на никелированной кровати.

– Не пойду! Не хочу, – обиженно ответила Хансулу.

Пахраддин, зажмурившийся было, открыл глаза, выпрямился. Сердито выка- тил глаза на дочь. Но сдержался, не сказал ничего, хотя взгляд говорил многое. Хансулу смешалась от его взгляда, боязливо поежилась.

– Не надо так, дочка, – урезонила мать. – Силком вас никто не женил. Из-за нас не ссорьтесь. Что Шеге? Не его вина, время, видимо, такое. Такая уж, видно, судьба наша. Ступай, будь умницей!

Хансулу, сверля взглядом пол, продолжала сидеть. Мудрая, много повидавшая на своем веку Сырга-байбише подошла к дочери, приласкала ее. Руки матери нежно касались волос, шеи, спины. Они снимали боль с души, и сердце оттаивало. Хансулу встала и пошла домой. Мать проводила ее.

...Шеге лежал отвернувшись лицом к стене. Кизяк в очаге угасал; пробежит по углям слабое, едва тлеющее пламя – и пропадет. Лечь отдельно – в доме другой постели нет. Пришлось пристроиться рядом, лицом к очагу. Шеге не спал, взды- хал. И Хансулу не спала. Она думала. Опять собрание перед глазами. Все можно простить, но как простишь такое?.. Бросить в лицо отцу: «Кулак!» Ластится к ней, когда одни, люблю-горю, говорит, а до дела дошло... Э-эх! Слова не мог ска- зать в защиту, комсомольцем, глядите-ка, заделался неподкупным! Ни слова, ни единого слова не смог сказать, мало того, что не защитил, еще ведь и прокричал публично: «Кулак!» Это ее-то отец – кулак?! Никогда Хансулу не думала о Шеге так плохо, как в этот час. Он был для нее хуже врага...

Шеге, вздохнув, перевернулся на спину. Открыл глаза. Угольки в очаге погасли. Темно, хоть глаз выколи. Все тот же студеный ветер. Не уймется никак. И у него в голове – ветер, ледяной, воющий над темной пустыней. Грудь жжет злость, необъяснимая, непонятная ему самому. На ком ее сорвешь? Не на ком. Но почему, почему за то, что он сказал правду, а ведь он сказал правду, он же и виноват?! Может, он в том виноват, что дочь кулака взял в жены? А может, и не он виноват, а Жорга Курен, потому что спровоцировал его на такое выступление? Или Пахраддин, потому что некогда был состоятельный. Или Хансулу, потому что не за правду встала, а за отца? Кто виноват во всем, что происходит? Кто виноват в смуте, которой нет объяснения? Кто, кто виноват?!

4

Всю неделю аулы на плато Устюрт бурлили. Днем и ночью собрания. От уполномоченных на взмыленных конях нет спасения.

По единственной тропе, идущей из Жанажола в Наркамыс, трусцой поспешал Пахраддин. За Пахраддином на коне рысил Суржекей. День был ясный, без малейшего дуновения ветерка. Все вокруг виднелось отчетливо, словно на ладони.

Накануне пили чай. Утро уже подходило к концу, когда объявился Суржекей. Словно с неба свалился. Похоже, из райцентра, из самого Наркамьса. Лицо смуглое, почти черное. Ни приветствия, ничего.

– В район пойдешь! – говорит.

Сырга перепугалась. А он устался на милиционера, не поймет, зачем ему в район. Суржекей, выпятив губы, его поторапливает, дескать, побыстрей.

– Нельзя ли узнать, браток, зачем? – спрашивает он.

А милиционер:

– Пойдешь – узнаешь. Давай-давай!

Такой вот разговор. Пахраддин поднялся, накинул на ходу чапан, молча пошел. Сырга что-то сказала. Не услышал Пахраддин.

– За конем я, – сказал он ей.

Милиционер тут же заорал:

– Не надо коня! Пехом... пехом прогуляешься!

И побежал Пахраддин трусцой. Только замедлит бег, слышит свирепое:

– Марш!

Суржекей командует по-русски. Надо полагать, для устрашения. В руке – камча. А что? Ударить может. С него, милиционера, станется. В 18-м году в предместьях Ойбыла в пустыне расстреляли крупных баев. Пот крупными каплями катит с Пахраддина. На плече – хоржун. Он не тяжел. Бедняжка Сырга заталкивала туда что-то обернутое в полотенце – не то хлеб, не то смену белья. Грузен Пахраддин, вот и трудно ему бежать, задыхается, постанывает на ходу.

Суржекей молчит. Видит он, каково Пахраддину, но не сочувствует ему. Напротив, чем больше тот охает, тем большее удовольствие испытывает.

«Пыхти-пыхти, – думает. – Тебе на пользу, когда-то и я, будучи сиротой, пыхтел, когда овец у бая Есенкула пас. Слезы проливал, бегая босиком по колючкам, пас коз. А вы тогда, подбоченившись, ехали на конях. Даже краем глаза не смотрели на плачущего мальчика. Теперь пыхтите, несясь перед сиротой Суржекеем».

Глядя на широкую, во влажных пятнах спину Пахраддина, Суржекей почему-то взъярился. Поддал коню в бока. Жеребец всхрапнул, поднялся на дыбы. Сшиб грудью Пахраддина, тот упал лицом вниз. Суржекей натянул поводья, останавливая разгорячившегося жеребца. Развернул его, поглядел на Пахраддина. Тот, опершись на руки, сплевывал песок, набившийся в рот, вытирая рукавом мокрое лицо, стал подниматься.

Суржекей терпеливо ждал, пока он поднимется. Лошадь поставил поперек тропы, преграждая дорогу. Весь обратился во внимание и слух. Ждет, что скажет Пахраддин.

Тот медленно поднялся. Снял с плеча коржун, бросил на землю. Отряхнулся, отводя глаза от Суржекея. Милиционер стал пепельно-серым в лице, сурово взирал, так и поедал глазами.

Пахраддин заговорил, приведя себя немного в порядок.

– Браток, – начал он, – к чему, я думаю, тебе меня мучить? Смерть, считай, одна. Чем вот так по-собачьи унижаться, а потом в вонючей тюрьме гнить, давай-ка я здесь, в степи широкой, останусь. Пристрели и оставь, вот и просьба, родной!

Суржекей окаменел. Молча сошел с коня. Спутал тому ноги. Взял в руки наган, осмотрел со всех сторон, оттянул предохранитель.

– Вот так, сделай милость, уважь старшего брата, – повторил Пахраддин и отошел шагов на шесть назад, облюбовав себе крохотную, с густой жухлой травой лужайку. Встал боком.

У милиционера вислые губы собрались в серую складку, зашевелились тараканьи усы. Поднял вытянутую руку с наганом, в висок прицелился.

Стало тихо. На миг установилась великая тишина. Даже конь милицейский замер, насторожив уши, уставившись на людей.

В сердце Пахраддина не было страха. Как говорил Абай, «к чему мытарства в жизни и униженье, когда в могиле тишина и покой?». Он и решил – отдохнуть от жизни. Устал жить. Невысокий косогор Каражон вдалеке горбатой цепью пересекал степь. За ним – аул, в ауле – Сырга, Хансулу. Бедняжка Сырга, ее жаль больше всех. Он даже и голос ее причитающий услышал. Его суженая... Его единственная любовь... Вот уж кто хлебнет горя без него! Он-то что? Он – ничего. Умрет и уйдет. Был он – и нет его.

Где-то в вышине запел жаворонок. В полыни под ногами застрекотали кузнечики. А Пахраддин стоял и ждал звука, одного-единственного, который все, что он сейчас слышит, оборвет – раз и навсегда. Отойдет Пахраддин в небытие. Там он ничего не услышит... Но выстрела, как ни странно, не последовало, и Пахраддин повернулся к врагу.

Суржекей, все так же кривя рот, старательно скручивал сигарку из махорки. Наган – в кобуре. Будто забыл про Пахраддина. Даже безмятежен. Вот тогда и почувствовал Пахраддин, как стучит его сердце, как пронзительно звенит в ушах. Одрябло тело, отпуская, словно натянутую нить, напряжение, расслабилось в суставах; Пахраддин рухнул на землю как мешок. Опустился рядом с муравейником. Снующие туда-сюда мураши, о создатель, продолжали свое нескончаемое действие, будто ничего, ровным счетом ничего не произошло. Их суетное движение, получается, продолжалось бы, как вчера, позавчера, как всегда – и несколькими минутами назад, когда его, Пахраддина, не стало бы?! О, бранный мир!..

5

Пахраддину повезло: на одной из улиц Наркамьса он случайно попал на глаза председателю райисполкома, а то бы, как знать, пропал бы в неизвестности, как многие тогда пропадали. Афанасий Гринин проезжал на коне, когда среди арестованных, месивших глину на улице, он увидел Пахраддина. Срочно вызвал к себе в кабинет Суржекея, велел после обеда доставить Пахраддина в РИК.

За два дня пребывания в тюрьме Пахраддин сильно сдал. Когда его, грязного, испачканного глиной, милиционер повел в РИК, он не мог понять, куда его ведут и зачем. И только когда в распахнувшуюся дверь он увидел склонившегося над столом Апанаса, глаза его озарились светом. Худой пожилой русский был ему сейчас ближе брата. Они обнялись. На глаза Пахраддина навернулись слезы. Афанасий Гринин, некогда в царское время сосланный в Казахскую степь, работавший сельским учителем, хорошо знал жизнь казахов. Пахраддин же чувствовал, что теперь, когда вмешался сам Апанас, его дела поправятся.

Афанасий Васильевич задумался, крепко задумался.

Зашагал он взад-вперед по кабинету.

– Э-э, друг мой Пахраддин, – сказал он. – Если бы дело было в Бухабое и Суржекее, это, скажи, полбеды было бы. Дело ведь не в них...

Пахраддин, развернувшись на стуле, вопросительно уставился на предрайисполкома.

– Не в них дело, – повторил Апанас. – Не в них. Пойми, кругом враги. У государства нет сил. Чтобы они были, силы-то, заводы нужны, техника нужна. А чтобы построить заводы, хлеб нужен, мясо рабочему человеку, который их строить будет. Хлеб и мясо – у кулака. Купить – денег у государства нет. Что делать? Ликвидировать кулака как класс и все у него изъять: продукты, скотину.

– Ну, а что же кулаку тогда? С голоду помирать, все государству отдав?

– Во-о... Советская власть тоже помирать не хочет. Никто с голоду помирать не хочет. Ты меня понял?

Подобное Пахраддин слышал впервые. Переменился в лице, побледнел. Афанасий Васильевич прохаживался по кабинету.

– Хоть и горькая, но такая вот истина, друг мой Пахраддин. Что я для тебя могу сделать, так дам-ка письменное разрешение на выезд в любом направлении, по твоему выбору. Это, к сожалению, все, что в моих силах... – так заключил Афанасий Васильевич и грустно вздохнул.

С этим документом Пахраддин вернулся, опустошенный, в Жанажол. Жорга Курен, увидев подпись предрайисполкома, почесал затылок. Верблюда, Шойынкару, оказавшегося в распоряжении коллектива, он не вернул. Так поздней осенью 29 ноября куцее, похожее на вдовье кочевье Пахраддина двинулось из аула. Вместе с Пахраддином покинула аул и мать Булыша – Дау-апа.

– У вас нет разрешения на выезд, – попробовал остановить ее Жорга Курен. – Бумага, Дау-апа, нужна, вот как у Пахраддина.

Старуха ему и отрезала, сказав своим сильным ясным голосом:

– Бумага тебе, может, и нужна, а мне ее не надо! Жила до сих пор без нее, без бумаги, а теперь жить осталось сколько козе, бог и без нее меня приберет. Вот так!

Жорга Курен знал, что мужеподобная, огромная черная старуха так ответит. Ему нужно было, чтобы ее слова услышал народ.

Многие аульчане пришли проводить Пахраддина. Когда груженные поклажей верблюды поднялись на ноги, женщины расплакались.

Кочевье было готово отправиться в путь. Зима уже входила в силу, по небу ползли низкие темные облака. Серые дали безмолвны, кажется, чутко прислушиваются к плачущим голосам. Хансулу рыдала, обняв мать. Тепло, по-зимнему одетый, туго перепоясанный Пахраддин был молчалив. Он покидал свою землю, свой народ.

Хансулу подбежала, обняла отца:

– Коке!

Дрогнули плечи Пахраддина. Хорошо, что Шарип вовремя вмешался:

– Что это вы все расхлюпались! – сказал он. – Кончайте! Вот же соседи наши – каракалпаки. Рукой подать. Ай-ай! Свидимся еще, даст бог. Ох, бабы, им бы только поскулить...

Так простился Жанажол с кочевьем Пахраддина... Из-за горизонта, далекого-далекого, выкатывалось солнце – холодное, без тепла. Оцепенелые, снулые косогоры тянулись мертвыми тушами. Туда, в сторону солнца, и двинулось кочевье. Медленно, но верно оно исчезало за горизонтом.

ЛИХОЛЕТЬЕ

1

В последнее время Шарип испытывал огромное удовлетворение жизнью. Все его радовало. И как ему не радоваться? Никто за полы не тянет, не срамит, дескать, грязный сапожник ты. И сапожники, получается, «сатсилизму» нужны. Еще радость – единственный сын Шеге. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!.. Его отпрыск у людей на виду. Особенно возмужал он, посерьезнел с тех пор, как стал комонесом¹. И в кого пошел, бедолага? А что задумал-то? Тентексай, говорит, перегородим, воду в долину Сарыжазык пустим, сеять будем.

Коллектив разделился на две бригады. Одну возглавил Жорга Курен, другую – Шеге. Начался поединок людей с тем, что сотворила природа – с огромным песчаным гребнем. Кетмени с хрустом вонзались в грунт.

– И-и! Налегай, бедняк! Круши, бедняк! – подбрасывал время от времени лозунги Шарип, подбадривая народ. А в это время из аула вышла девочка в красном платье и со всех ног побежала к работающим людям. Подол платья так и развеялся, так и трепыхал на ветру.

Шарип решил передохнуть, оперся на кетмень, вытер пот со лба. Люди продолжали работу. Шарип, заметив девочку, не выдержал, засеменял навстречу дочери.

– Уж не Гульжан ли наша? Ай, ай, что там?

– Милиса приехала! Двое их! – закричала еще издали Гульжан. Косички на спине прыгают.

– Милиса? – переспросил Шарип.

– Милиса! Двое их! – повторила девочка. – Один – Козбагар-ага, у него сабля. Попросят, чтобы старший брат скорее шел.

Шеге всю дорогу напряженно думал, пытаясь понять, в чем провинился перед властью, и ничего не мог найти. И все-таки сердце как-то ошутимо билось в груди. Ногой оттолкнул черного, умиленно увивающегося под ногами щенка. Боязливо открыл собственную дверь. Взгляд сразу же упал на начальника райотдела милиции Суржекея – он лежал на гостевом месте, подложив под локоть подушку. Из расписного тостагана начальник неторопливо цедил айран, явно его смакуя. Увидел, конечно, Шеге, но позы не переменял. Здесь же сидел тучный Козбагар. Только нынешней зимой на курсы уехал, закончил, видать. Милицейская форма сидела на нем плохо, не шла ему.

– Ассалаумагалейкум! – поздоровался Шеге.

Козбагар, вскочив, подал ему руку. Жайбаскан, разливавшая шубат, робко глянула на обоих. Суржекей протянул Шеге кончики пальцев. Они ледяные. Серое лицо зловеще, от него веет холодом, как и от винтовок и сабель у стены.

Шеге опустился рядом с Козбагаром. Тишина. Нарушить ее может лишь Суржекей. Все и ждали, что он скажет. А тот, нарочно усугубляя ситуацию молчанием, тянул с айраном, пока не допил его и не поставил тостаган² на дастархан. Вытер полотенцем губы.

– Товарищ Каспаков! – только теперь он взглянул на Шеге. – Поедешь в район. Собирайся!

¹ Искаж.: коммунистом.

² Тостаган – деревянная чаша.

Ещё переступая порог, Шеге чувствовал, что этим примерно и закончится их разговор, но на всякий случай переспросил:

– В район, говорите? Хорошо...

Суржекей повернулся к Козбагару. Тот мгновенно затрепыхался, как зайчонок, замороженный змеей. То смотрит на начальника, то на Шеге. На висках заблестели бусинки пота.

– Шеге, – заговорил он упавшим голосом, – дело вот в чем...

Жайбаскан и Шеге напряженно замерли в ожидании нехорошей вести.

– Дело в том... Факт такой есть. В вашем доме золото и серебро кулака Пахрадина хранится. Заявление пришло, что у вас он свое добро оставил, поскольку ты зять. Вот и пришли... проверить.

– Какое золото и серебро, бог мой?! – изумилась Жайбаскан.

– Ну, так проверяйте, проверяйте! – произнес Шеге, побледнев.

– Апа, раскройте в таком случае сундук, развяжите тюки! – попросил Козбагар, почесывая затылок.

– О боже! – проворчала Жайбаскан, сбрасывая на пол одеяла с сундуков и тюков.

Первым она открыла большой черный ларь. Ничего, кроме тканевых отрезков и одежды, в нем не нашлось. Развязала тюк. Ковер да текемет – приданое для Балжан, сама Жайбаскан его собирала. Золота и серебра, потребного милиционерам, не оказалось и там. Нераскрытым остался железный сундучок с орнаментами, убранный белой кошмой.

– А этот сундук почему не открываете? – спросил Суржекей, шевельнув тараканьими усами.

– Ой, это невесткин сундук, ключа-то у меня нет! – сказала Жайбаскан.

– Невестка где?

– На работе. Тентексай перегораживают.

– Давай ее сюда! – велел Суржекей Козбагару. Козбагар ринулся к порогу, да тут дверь открылась, и показалась заметно отяжелевшая Хансулу. Она задержалась на пороге, пораженная беспорядком в доме.

– Вот и сама пришла! – взволнованно проговорила Жайбаскан. – Открой-ка, милая, сундук! Вот, проверяют нас, ищут чего-то!

Хансулу, сделав два шага, остановилась. Не поймет еще ничего.

– Ключ дай от сундука! – рассердился Шеге.

Только тогда Хансулу пришла в себя. Перекинув движением плеча одну косу на грудь, потянулась к шолпам на ее конце, отвязала ключ, дала свекрови. Та никак не могла попасть ключом в замочную скважину.

– Да чтоб тебя пес съел! – ворчала Жайбаскан и стучала по сундуку кулаком. – Смотрите, коли надо вам! – бросила она, отходя.

– Давай смотри! – приказал Суржекей Козбагару, который, как ощущалось, не очень хотел этим заниматься.

Покраснел бедняга, стыдно было ему копаться в женских вещах. Но приказ есть приказ. Начал кидать на кошму летние наряды Хансулу, платья, бешметы, камзолы, следом и нижнее белье пошло. Суржекей, дымя махоркой, сидел на тюке, не сводил глаз с сундука. Последним Козбагар извлек со дна небольшой позолоченный ларец.

– Не тронь! – вскрикнула Хансулу.

Тут-то и встал, внушительно расправив плечи, Суржекей. Самокрутка по-пыхивала в углу рта.

– Давай сюда! – велел он. Взял ларец. Попробовал на вес.

– Хм... Где ключ? – спросил он, и тараканьи усы его дрогнули.

– Нету ключа от него! Зачем он вам? – резко сказала Хансулу.

Суржекей поднес ларец к уху, потряс им. В чем-то, видать, убедился, подняв ларец над головой, бросил его с силой оземь.

– Ах! – вскрикнула Хансулу, закрывая лицо.

Мать Сырга при откочевке оставила ей ларец, наказав: «Сохрани это. Неизвестно, что впереди ждет нас. Пригодится, если тяжело придется. Никому не показывай». Хансулу и не показывала никому, даже Шеге. А хранились в том ларце драгоценные камни, ювелирные украшения из золота и серебра.

Сундучок разлетелся вдребезги. Разлетелись по кошме ожерелья с дорогими камнями, золотые и серебряные браслеты, кольца, бусы, перстни, серебряные монеты с изображением царя Николая II. Суржекей, дымя самокруткой, деловито присел. Поднял тяжелый золотой браслет, взвесил на ладони. Покачал головой.

– Коммунистом называется еще, – зло фыркнул он.

– Он не виноват, ага! – вскричала в отчаянии Хансулу и, присев, закрыла лицо ладонями. – Он не знал. Это я!.. Я!..

Козбагар по распоряжению начальника собрал в кожаную сумку валявшиеся на кошме драгоценности. Шеге стоял, будто громом пораженный. Молчал, лицо было, словно серый камень.

– Каспаков! Пошли!.. – сказал Суржекей, все еще дымя махоркой.

Шеге сменил рубашку. Надел драповый пиджак, который купил, когда стал председателем. Мать засуетилась, айрану, дескать, попей, но не до айрана было ему. Положил документы в карман и пошел из дому. Не проронив ни слова, сел, угрюмый, в бричку к милиционерам.

Мать выскочила следом, сунула ему за пазуху что-то обернутое в полотенце: хлеб.

– Чу! – тронул вожжи Козбагар.

Жеребцы, нетерпеливо грызшие удила, сорвались с места. Старики и дети Жанажола наблюдали за тем, что происходит. Даже там, на Тентексае, приостановили работу. К аулу тяжело трусил бедняга Шарип, что-то крича на ходу. Одна Жайбаскан и слышала, что он кричал. А милиционеров, которых уносили сильные, храпящие жеребцы, это не интересовало. Как вихрь, мчались кони, оставляя облако пыли.

– О боже! Что мы тебе сделали? – запричитала несчастная Жайбаскан. Еще не знала женщина, что за золото, обнаруживаемое в тайниках, многие тогда поплатились головой. Такое было время...

Так неожиданно-негаданно занялся пламенем семейный очаг Шарипа.

2

Шеге и милиционеры достигли районного центра в послеобеденное время. Предрайисполкома Гринин дождался Шеге в своем кабинете.

– Ну, как это понимать? – спросил Афанасий Васильевич сразу, кладя перед ним на стол лист бумаги, исписанный латинскими буквами¹. Шеге взял лист. «Заявление», – значилось на нем. Письмо адресовалось Калашникову.

¹ С 1929 по 1940 год казахи пользовались латинской графикой.

– Читай! Читай! – сказал Афанасий Васильевич, вставая. Принялся скручивать сигарку.

Шеге положил шапку на стол и вчитался в строки. Кто бы ни писал заявление, но жизнь Шеге он знал хорошо. Писака заходил издалека, аж с момента его женитьбы на Хансулу. «Из-за неопределенности классового мировоззрения, из-за мягкотелости, – писалось в заявлении, – женился он, то есть Шеге, на дочери кулака Пахраддина, прямого врага Советской власти; так стал родичем “боржою” так стал свяжком Булышу, раскрывшему в последнее время свое классовое лицо. (В письме было указано, что первая жена Булыша приходилась младшей сестрой Пахраддину). Все знают, что он бандит, убедились в этом при конфискации имущества бая Мажана. В 1928 году во время конфискации Пахраддин укрыл от государству имеющееся у него золото и серебро. Ходят слухи, что он отдал драгоценности на хранение Шеге, своему зятю. Товарищ районный секретарь! Пришло время, когда леваков типа Каспакова, которые, как было указано выше, лизались с нашими классовыми врагами и свернули с пути партии на путь Троцкого, следует решительно изобличать!» Подпись: “Группа активистов из бедняков”».

Шеге, прочитав письмо, поднял голову. Посмотрел на Афанасия Васильевича.

– Кто это написал? – спросил тот, оборачиваясь к нему.

– Курен... Курен, наверное, – сказал Шеге.

– И я так думаю.

– Но почерк не его, Афанасий Васильевич!

Тот только рукой махнул.

– Борзописцы найдутся! Ты лучше подумай, какой ответ будешь держать на бюро. Один из вопросов повестки – твой вопрос. Обдумай тщательно, хорошо? – С этими словами он ушел с анонимкой.

Шеге устался в спину согбенному худому Апанасу. Не понимал он ничего, до того был подавлен случившимся.

– Я вернусь. Я только к Семену Харитоновичу загляну! – сказал Апанас, задержавшись на пороге.

В голову ничего не шло. Одно знал – честен он, чист перед партией. «Левак», «боржойские наклонности»... Клевета! Если уважал Булыша – то за человечность.

– Пошли! – сказал через некоторое время Афанасий Васильевич, открывая дверь. – Говори обоснованно, не теряйся! Соберись с мыслями!

Перед кабинетом Калашникова Шеге опередили несколько человек. Среди них он узнал секретаря райкома комсомола, тощую смуглую Нурилю, районного прокурора Суранышева и Суржекея. Остальных он не знал. Дверь закрылась перед самым его носом.

Суржекей, высунувшись, позвал:

– Проходи!

Люди, сидевшие по обе стороны длинного стола, заинтересованно оглядели его. Были и откровенно враждебные взгляды. Калашников, восседавший под портретом Сталина, задержал на Шеге усталый взгляд. Ручкой показал на стул у стены: «Присаживайся!»

Шеге сел. Смял на коленях шапку.

– Читайте! – попросил Калашников Нурилю, передавая ей заявление.

Нуриля, вскочив, чеканным голосом зачитала его. «Наступило время, когда леваков типа Каспакова следует изобличать!» – закончила она.

В просторном кабинете повисла тяжелая тишина. Калашников кивнул Суржекею:

– Ну-ка!

Суржекей положил на стол газетный сверток, развернул его. Щеки Шеге вспыхнули. Золотые и серебряные украшения ослепили сидящих. От стыда в смятении Шеге был готов провалиться сквозь землю.

– Это, конечно, анонимка, – сказал Калашников, показывая письмо, – но это факт!

Шеге, слабый в русском, не все понимал из того, что говорил Калашников. Но тон и жестикуляция секретаря подсказывали: не пощадит он его. Внезапно серый прищур глаз под густыми бровями Калашникова впился в Шеге. Он похолодел от страха, сердце сжалось в груди.

– Встань, – сказала Нуриля, переводя слова секретаря.

Шеге встал. Все опять уставились на него.

– Семен Харитонович спрашивает, что ты думаешь по поводу этого заявления?

Шеге не ожидал, что ему так быстро дадут слово. Посмотрел в окно. Туманный день был за окном. Близился вечер. В далеком Жанажоле Хансулу, видимо, вот так же в окошко смотрит, поджидая его...

– Все в письме ложь! – сказал он. – И написали его не активисты-бедняки. Его написал человек, прикрывающийся именем активистов. Булыша, говорят, защищал. Если я его защищал, так тогда, когда он не был еще бандитом, не хотел я, чтобы он вставал на ошибочный путь.

– И что кулацкую дочь в жены взял – тоже ложь? – пропел тонким голосом Суранышев, все так же демонстрируя ему свой красный затылок.

– Это правда, не ложь, – буркнул Шеге.

Нуриля слово в слово переводила диалог Суранышева и Шеге.

– Что же это тогда, как не лизание с нашим классовым врагом? – опять прозвучал бабий голос.

– Извините! – прервал Суранышева Афанасий Васильевич. – Разрешите? – Он поглядел на Калашникова. Тот жестом попросил его помолчать.

– Я никому ничего не лизал! – вспыхнул Шеге. – взял кулацкую дочь. Верно. Но с кулаком из-за этого не лизался. Не возводите напраслину на меня!

Калашников взглядом остановил Апанаса, заерзавшего на месте.

– Эй, а что ты кричишь? – взвизгнул Суранышев, наконец-то поворачиваясь к нему всем телом. – А это золото и серебро в твоём доме ведь нашли! Или, скажешь, и это неправда?

– Вот-вот, – подхватил Калашников, заскрипев стулом. – Что скажешь насчет этого? Это же факт, товарищ Каспаков!

Здесь Шеге и потерялся. Он решил, что теперь-то уж никто ему не поверит, что он ни скажи. Он пробормотал глуховатым голосом:

– Про все эти вещи я, ей-богу, ничего не знал. И не видел даже. Сегодня только увидел... вместе с милицией. Жена, оказывается, скрывала...

Суранышев усмехнулся, покачал головой. Калашников посмотрел на predisполкома Гринина:

– Пожалуйста!

Афанасий Васильевич с готовностью встал.

– Семен Харитонович! Дорогие товарищи! – начал он, сочувственно поглядывая на Шеге. Он говорил по-русски.

Шеге, хоть и не все понимал, но предполагал, о чем может вести речь Апанас. «Да, знаю Шеге, – говорил он. – В прошлом году в стычке с бандитами как настоящий воин себя проявил, бесстрашный, находчивый, предан Советской власти...»

– Афанасий Васильевич! – это опять Калашников. – Мы про это знаем. Вы лучше скажите...

И – непонятно опять, о чем Калашников говорит. Нуриля, будь она неладна, тоже умолкла, не переводит. Но Шеге чувствует неодолимый напор Калашникова. Гринин сбился с первоначального тона. Смотрит на дорогие украшения на столе и не знает, по-видимому, что по их поводу сказать. Шеге стало обидно за доброго Апанаса, ринувшегося за него в бой, но терпящего – опять-таки из-за него! – поражение. Обидно и за себя, что не понимает больше половины произносимых здесь слов.

– Я вас понимаю. Это ваш кадр. Это вы дали ему рекомендацию в партию. Вы обязаны его защищать. Но, товарищи! – и секретарь встал. Был он высокий, с длинными ногами, с сильным трубным голосом. Калашников умел заразительно говорить. Он перечеркнул все, что говорилось здесь до него. Даже Апанас, олицетворение могущества в глазах Шеге, поблек рядом с секретарем. Все, разинув рот, слушали Калашникова, плотая каждое его слово, согласно кивая его жестам. Он говорил горячо, темпераментно.

– Где наша партийная принципиальность, товарищи? – прогремел в какой-то момент Калашников, потрясая кулаком и останавливаясь рядом с Афанасием Васильевичем. Тот зашевелился, прокашливаясь, но Калашников поднял руку: помолчи, мол. Двумя-тремя шагами покрыв расстояние до стола, Семен Харитонович сел на свое место и так же азартно продолжал:

– Товарищи! Вы прекрасно знаете, что по всей стране идет чистка партии от таких вот сорняков, – показал рукой на Шеге. – Хорошо, что он у нас пока кандидат. Иначе бы, дорогой Афанасий Васильевич... – и снова поток слов, недоступных Шеге. Шеге услышал слово «опозорил». Не по себе ему стало. Калашников чеканил фразы, и под влиянием его речи Шеге все более чувствовал, что в глазах сидящих людей превращается в нечисть. И он уже думал, терзаясь раскаянием: «И в самом деле я наломал дров», «Натворил же я делов...», «Иначе первый секретарь так не разгневался бы».

Он поднял голову и увидел, что взял слово уже другой человек. Суранышев. До Шеге наконец-то дошло, что решается вопрос о его возможном пребывании в партии. Все, кто выступали, предлагали исключить его из кандидатов в партию.

Шеге, услышав свою фамилию, встал. Не понял последних слов Калашникова. Сухощавая Нуриля с готовностью объяснила:

– Из партии тебя исключили, от работы освободили. Теперь твое дело в следственные органы передают, там и решат, какой ты перед законом чистый...

Во весь рост возвышался Шеге перед ними и мял в руках шапку, пот катился с обветренных загорелых висков. Ему казалось, что лицо его занялось огнем.

– Пошли! – буркнул с порога Суржекей.

Его голос вернул Шеге к реальности. Сутулясь, пошел по коридору впереди милиционера. Тяжело топал в тяжелых сапогах. Вот что значит «арысты-

бай». Арестовали, получается, Шеге, как когда-то Азбергена. Когда того вот так уводили, погоня вперед, они всем аулом глядели вслед...

На улице Шеге молил судьбу, чтобы не встретился никто из знакомых. Суржекей только команды отдает: туда... сюда... Они шли по единственной улице поселка. Отделение милиции, или «милисахана», как его здесь называли, было на краю улицы; туда, видно, и вели его, чтобы запереть в камере. Куда ни посмотри, кругом признаки ранней весны, в воздухе уже плывут весенние ароматы, склоны оврагов и холмов потемнели, а на берегу Жема пробилась сочная зелень. Откуда-то наплывает ласковый ветерок. Солнце, багряно-красное, медленно уходит за увал, наступает закатный час.

Вот и старухин дом, тот самый, где они с Хансулу снимали комнату в прошлом году. Знакомый сарай, двор. Осевшая глинобитная мазанка. Зашемило на сердце. Что ни говори, счастливые были дни! День ссорились, день мирились – это тоже оказывается, было прекрасно!..

«Милисахана» представляла из себя длинный, с жестяной крышей барак. Там Суржекей сдал «арыстыбая» Козбагару. Тот, бедняга, не отводил глаз от Шеге, чувствуя себя крайне неудобно. Со связкой ключей грузно потопал вдоль барака, велел Шеге следовать за ним.

– До суда тут подержат, – сказал он, давая понять, что ему не совсем приятно выступать в такой роли.

С детства они росли вместе – Козбагар и Шеге. Козбагар и сейчас недотепа. Хоть и милиционер. В характере не изменился ничуть. Как и в детстве, не смеет поднять на Шеге глаз. Что уж об остальном говорить, если Козбагар остался Козбагаром даже тогда, когда от него невеста Хансулу сбежала и стала женой Шеге?! Так уж получилось, с малых лет Козбагар любил Шеге, ценя в нем прямогу, честность, смелость. И Шеге знал, что Козбагар незлобив и простодушен. Потому понимал его смущение сейчас, когда тому приходилось обращаться с давним приятелем как с «арыстыбаем».

– Следователь – знакомый парень... Поговорю с ним, – пообещал Козбагар.

Шеге ничего не сказал. Но почувствовал в ту секунду, насколько он жалок в своем положении, если даже Козбагар ему сочувствует. Сникший, он просто молчал. Тяжелые железные двери на другом конце барака Козбагар открыл двумя ключами. В нос ударило холодом. Полумрак, сено на полу. В темном углу фигуры лежавших вповалку людей.

– Вот здесь и побудешь, – сказал Козбагар смущенно.

– Да ладно, – бросил Шеге и шагнул через порог.

Справа светлело в стене небольшое зарешеченное окошко. Козбагар закрыл скрипящие железные двери. Будто в подземелье очутился Шеге. Глухая тишина придавила его. В углу начали поднимать голову какие-то типы, видать, спали. Словно звери из нор, пристально разглядывали его. Шеге стало жутко. Он принялся искать себе местечко на толстом соломенном настиле. Перед окошком нашел – плюхнулся обессиленно, успокоился. Пускай теперь смотрят, ему все равно. Надо отдохнуть, с духом собраться. Откинулся спиной к стенке, вздохнул, закрыл глаза. Солома вдруг зашуршала совсем рядом.

– Эй! – окликнул некто широколицый и черный, опускаясь перед ним на корточки. Смеясь, он скалился, маленькие глазки при этом закрылись. Да это же бывший милиционер, затем уполномоченный – небезызвестный Бухабай! Он хлопнул Шеге по плечу широченной ладонью.

– Шеге! Табарыш Каспаков! Ты что здесь делаешь?

Шеге усмехнулся:

– А что тут люди еще делают?

– За перегиб?

– Нет. Лизание с врагом.

– А-а, кулацкую дочь взял и прочее-прочее...

– Да-да, так и сказали.

Бухабай опять его по плечу шарахнул, расхохотался, явно чем-то довольный, жирное тело затряслось всеми складками. Стеганка на голое тело была надета, вислое брюхо виднелось.

– Нешауа!¹ Не теряйся, – произнес он, обрывая смех. – Что только не должен испытать настоящий мужчина! Будь они прокляты, и меня три дня назад сюда упрятали. Перегиб сделал, говорят... Пустомели, я тебе скажу, наше начальство. Сами не ведают, что творят. То план давай – сто прасент. Сам Калашников глотку драл. Поскакали мы. Приказ есть приказ. Дали план. Потом, говорят, каллектеп делать – сто прасент. Народ что? Политику разве понимает? На кой нужен ему каллектеп! Побежал. Кто в Иран, кто в Ауганистан, кто к каракалпакам. Кто потом бинауат? Бухабай опять бинауат. От кебенемат!

Бухабай в гневе разворошил под собой солому, не в состоянии усидеть на месте, зыркнул туда и сюда пылающим взглядом.

– От кебенемат!² Бухабай бинауат! Назло им туда жаловаться буду! – он грузно вскочил и ткнул пальцем вверх. Внезапно Бухабай переменялся в лице, оглянулся и сделал знак Шеге, кивнув на окошко: «Твой отец пришел!»

Шеге повернулся к окну, а за ним и впрямь стоял отец.

Малахай косо нахлобучен на голову. Всмотривался в барачную темноту, искал сына. Пока Шеге встал, убежал куда-то.

Козбагар открыл дверь. Вывел Шеге на свидание с отцом.

Вечерняя мгла сгустилась, но Шарип смог увидеть, как осунулся сын всего за один день. Бросился к нему, прижал к себе, сердце в груди таяло от жалости к родному чаду. Крупные капли сорвались с ресниц. Не смог он сразу ничего сказать. Отвернулся.

– Идем сюда! – сказал он и повлек сына в уединенный угол. – Слышал я все от Апанаса...

– Следствие будет. Суд решит как быть, – пояснил Шеге...

Отец некоторое время молчал, уставившись в землю. Потом поднял голову, вдрут заулыбался:

– Сюинши³! – смеясь, потребовал он. – Родила наша сношенька. Тугелхан – бедовый малец на свет появился, черт его побери, вот какое у нас прибавленьице! Вчера родила...

Кровь ударила в щеки Шеге, широкая улыбка озарила лицо.

– В честь того, чтобы все мы снова были вместе... все... Тугелханом его назвали, – бормотал Шарип.

– Коке, они не хотят освободить меня... Видимо, привлекут к ответу и Хан-сулу, – Шеге, несмотря на радость, пришлось рассказать про то, что услышал

¹ Искаж.: Ничего!

² Нецензурное, искаж. русское.

³ Обычай казахов требовать награды за радостную весть.

угрозы в адрес Хансулу. Веселье Шарипа как рукой сняло. Смял в руке козлиную бородку, задумался.

– Коке! – сказал Шеге. – Отвези Хансулу к родителям. Другого выхода нет.

– Но ведь суд завтра... что же я...

– Нет, коке, – возразил Шеге, – возвращайся! А здесь... от судьбы не уйдешь... посмотрим.

И Шарип, усевшись на верблюда-ворчуна, нехотя поскакал обратно в аул.

...Наступило время суток, когда ночная тьма рассеивается и окрестность становится мало-мальски видимой. Обозначился степной горизонт, выявилась старая караванная дорога, зовущая в дальний путь... На западе на желтеющем небосводе сияла крупная утренняя звезда.

Трое путников – двое на верблюде, другой на коне – ехали по степи, держа курс так, чтобы звезда Венера была над левым плечом. На верблюде восседала Хансулу. Прижав к груди запеленатое дитя, покачивалась она в такт валкой верблюжьей поступи. Впереди долгая дорога. Трудная дорога через великий Устюрт, тропа эта потом выведет ее в Бескалу, к землям каракалпаков и туркмен.

Так началось длинное, полное опасностей странствие Хансулу, оставшейся без Шеге, с ребенком на руках, по тропам неясных, переменчивых времен.

Окончание следует.